



Петр Сергеевич Стефанович
Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11104813

Бояре, отроки, дружины: военно-политическая элита Руси в X-XI веках/ Стефанович П. С.:

Индрик; Москва; 2012

ISBN 978-5-91674-237-4

Аннотация

Задача исследования, представленного в книге, – определить формы и состав элиты древнерусского общества в X–XI вв., особенно той её части, которая участвовала в принятии важнейших военных и политических. Анализируются данные древнейшего летописания, договоров Руси и Византии X в., «Русской Правды» и других источников в широкой сравнительно-исторической перспективе. Подробно описываются группы, которые в XI в. составляли важнейшие элементы элиты Руси, – знать (*бояре*) и военные слуги князей (*отроки* или *гридь*).

Содержание

Предисловие	4
Введение	5
Глава I	21
«Германская» дружина	23
«Славянская» дружина	43
Выводы	62
Глава II	65
Дружина в древнейших славянских памятниках	68
1. Тексты кирилло-мефодиевского круга	70
2. Древнеболгарские тексты	80
3. «Чешско-церковнославянские» тексты	82
Дружина в древнерусских источниках	93
1. Древнейшее летописание	95
Конец ознакомительного фрагмента.	97

П. С. Стефанович

Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках

Посвящаю свой труд жене

Предисловие

В этой книге представлены результаты исследований, которые автор ведёт с 2005 г. Некоторые из этих исследований публиковались в виде статей. Частично статьи были включены в книгу без изменений, но большей частью переработаны, местами весьма существенно и в деталях, и в общих оценках. Разумеется, окончательной авторской точкой зрения следует считать суждения, высказанные в книге.

Переработка во многом является следствием критики и замечаний, которые высказывали коллеги, ознакомившись с моими исследованиями. Я глубоко признателен и этим коллегам, и вообще всем тем, кто помогал мне в работе, – кто больше, кто меньше, кто в публичном обсуждении, кто в частной беседе, кто советом, кто делом. Особенно полезны были замечания В. А. Кучкина, который прочитал рукопись книги с исключительными внимательностью и взыскательностью.

Значительная часть работы была проведена благодаря поддержке немецкого Фонда имени Александра фон Гумбольдта. Грант Фонда не только обеспечил финансовую поддержку, но и дал возможность ознакомиться с западной литературой, в основном, труднодоступной или вообще недоступной в России, и обсудить предварительные итоги исследований с коллегами за рубежом.

Введение

Кто отвечает за решения, определяющие судьбы многих людей? На этот вопрос есть три основных ответа. Для многих, особенно неискушённых любителей истории, в центре исторических событий и процессов находятся фигуры правителей и героев. Их блеск затмевает серую массу населения, им подчинённого и ими ведомого, им приписываются все государственные деяния. «Жизнь замечательных людей» – это жизнь всего общества. В сущности, такое восприятие истории идёт из глубокой древности. В древнерусских летописях, например, князья – и даже, точнее, князья одной династии Рюриковичей – персонифицируют власть и несут ответственность за подданных перед высшим Судом, и на них замыкаются так или иначе все общественные явления и движения.

Другой ответ наиболее последовательно развила учёная мысль XIX в. Фигуры одиноких гениев, героев или помазанников божьих отошли на задний план, а вперёд выдвинулись структуры, массы, институты и объективные условия в историческом процессе. Решения лидеров и правителей, какими бы самостоятельными и оригинальными они ни выглядели, на самом деле, как утверждала наука, выражают интересы и волю более или менее широких кругов лиц – от класса до нации.

Сегодня большинство учёных, представляющих общественные науки, скажут уже иначе, дистанцировавшись от этого взгляда или, во всяком случае, существенно уточнив его. Далеко не всё население и даже не большинство того или иного государственного или общественного образования имеет возможность (и желает) влиять на политический процесс. Реальная власть принадлежит сравнительно узкой и немногочисленной верхушке общества. В разных исторических условиях эта верхушка может по-разному выглядеть, но присутствует она практически во всех обществах, известных науке¹.

В этой книге представлено историческое исследование, которое отталкивается скорее от третьего подхода. Задача исследования сводится к следующему: понять, кто именно, какие люди составляли в древнейший период истории Руси слой, который выделялся среди прочих и нёс прежде всех прочих ответственность за политические решения. Разумеется, в древних обществах обладание властью и ресурсами происходило, в конечном счёте, из военного превосходства – господствовал тот, кто был сильнее. Военные и политические характеристики и функции находились в неразрывной связи.

Объект исследования – не столько военные, политические и административные институты и процессы, сколько группы, так или иначе задействованные в этих институтах и процессах, и целью является внешнее «структурное» описание этих групп с учётом динамики в их положении и, отчасти, взаимодействия их друг с другом на протяжении сравнительно длительного времени (около двух столетий). Такой «социологический» подход наталкивается на ряд трудностей (даже если оставить в стороне проблемы источниковедческого свойства – о них см. ниже), которые в научной литературе решаются очень по-разному с помощью самых разных интерпретаций и концепций.

¹ Эгалитарные общества, жившие или живущие в некоем «первобытном коммунизме», исторической науке вообще не известны, да и у этнологов идут споры, применимо ли это понятие и в какой мере к современным «примитивным» обществам. Известный этнолог в очерке развития идей и дискуссий об «эгалитарных/неэгалитарных» обществах в XIX–XX вв. заключает: «most anthropologists are nowadays skeptical about the existence of a universal stage of primitive communism» (Béteille 1994, с. 1012). Общества, которые можно назвать (хотя и всё равно условно) эгалитарными, фиксируются лишь в весьма специфических природных условиях в отдельных областях Африки и Азии. Ср. также: Крадин 2001/2004, с. 149 и след. Здесь и далее все указания на источники и литературу приводятся в соответствии с сокращениями, условно принятыми для каждой публикации и приведёнными в «Списке литературы» в конце книги.

Главная трудность связана с размытостью и аморфностью социальной структуры раннесредневековых обществ Европы. Правовые и институциональные градации носили более или менее случайный и каждый раз особенный характер, были неустойчивы и непоследовательны. Историки всегда испытывают трудности в применении к этим обществам определения, принятые для более позднего времени (сословные или классовые). До сложения сословного строя в позднее Средневековье общественная иерархия строилась и определялась под воздействием не столько письменно зафиксированных юридических норм, сколько общепринятых («обычноправовых») представлений и практик и фактического соотношения сил.

Вместе с тем, в современной медиевистике никто не сомневается в самом наличии стратификации в обществе раннего Средневековья и, в частности, в существовании некоей социальной верхушки или правящего слоя, для которого в разных историографических традициях применяются разные, но схожие названия (англ. upper class, ruling group, франц. classe dirigeante, class dominante, нем. Oberschicht, politische Elite и т. д.)². Проблема состоит в том, как определить признаки этого слоя и связать его с сословием знати (рыцарским сословием), оформившимся в позднее Средневековье. Многие учёные, особенно в XIX—первой половине XX в., вообще отрицали наличие здесь какой-либо связи.

Второй том классического труда Марка Блока «Феодальное общество» начинается с утверждения, что относительно строгое упорядочивание общественных классов заметно только со «второго феодального периода», то есть приблизительно с начала XII в. С этого времени, по мнению Блока, можно говорить о знати как особом социальном слое, привилегии которого определены юридически и передаются по наследству. В раннее Средневековье стержень социальной иерархии составляли отношения личной зависимости, и господствующий класс (classe dominante) постоянно обновлялся лицами, продвигавшимися по социальной лестнице в силу личной предприимчивости, обогащения и т. д.³ Такое понимание общества иногда называют меритократией – «властью достойных» (от латинского *mereo* «заслуживать, зарабатывать, быть достойным»).

Однако уже тогда, когда писал Блок, был сформулирован совсем другой подход, признававший за знатью не только ведущую общественную роль, но и преемственность на протяжении всего Средневековья. В середине XX в. в немецкой медиевистике произошло явное и решительное смещение акцента на знать/аристократию как системообразующий элемент средневекового общества. Эта подвижка была следствием пересмотра взгляда, принятого в XIX в., на древнее «племенное» общество германцев как «демократию». Вместо «германской свободы» была выдвинута идея «господства знати» – *Adelsherrschaft*. «Средневековый мир был аристократический мир. В государстве, церкви и обществе господствовала знать», – таким программным заявлением начиналась работа Генриха Данненбауэра, одного из вдохновителей этой идеи⁴.

Теория «господства знати» была поддержана в последующей историографии далеко не во всех пунктах и аспектах, но она, несомненно, дала мощный импульс изучению средневековой знати⁵. Общий тренд европейской медиевистики второй половины XX в. состоял

² См.: Reuter 1997a, с. 178.

³ «A partir du second âge féodal on vit les classes s'ordonner de plus en plus strictement». «Assurément les sociétés de l'ère féodale n'eurent rien d'égalitaire. Mais toute classe dominante n'est pas une noblesse». «...la noblesse ne fut, en Occident, qu'une apparition relativement tardive... Le premier âge féodal tout entier, avec l'époque immédiatement antérieure, l'avait ignoré (Block 1939–1940/1968, с. 393–396). Ср. русский перевод, не точный и стилистически далеко не блестящий: Блок 1939–1940/2003, с. 276–278.

⁴ «Die Welt des Mittelalters war eine aristokratische Welt. Staat und Kirche und Gesellschaft werden vom Adel beherrscht» (Dannenbauer 1941, с. 1).

⁵ Историография этого направления весьма обширна. Краткий, но содержательный обзор её дал английский медиевист немецкого происхождения Тимоти Рейтер (Timothy Reuter): Reuter 1997a. См. также сборник франко- и немецкоязычных

в демонстрации наличия и особой роли знати в раннее Средневековье, то есть и до сложения сословного строя (несмотря на естественные расхождения в таких вопросах, как состав и преемственность этого слоя, суть, происхождение и формы его доминирования и т. д.). Сегодня едва ли кто-нибудь станет говорить о раннесредневековом обществе как о меритократии или тем более демократии.

Однако, различие между знатью раннего Средневековья и рыцарским сословием XII–XV вв. очевидно, и остаются трудности в определении признаков этой знати, которая не обладала наследственностью и правовым статусом. По этой причине в англо- и франкоязычной медиевистике, например, разделяют два понятия – *знать* и *аристократия*. Первое относится к слою с юридически закреплёнными привилегиями, второе, подразумевая значительный уровень социальной мобильности, указывает на тех лиц, которые выдаются в социальном отношении и обладают властью *de facto*⁶.

К раннесредневековой знати применяют также понятие *элита*, следуя определениям в духе Макса Вебера и выделяя такие признаки, как 1) престиж (социальный статус), 2) капитал (богатство, имущество) и 3) власть (господство) над людьми⁷. Совокупность всех вместе этих признаков, особенно если идёт речь об обладании не просто властью, но властью политической (публичной), указывает именно на знать. Впрочем, понятие элиты довольно широкое и гибкое. К нему прибегают даже и тогда, когда обнаруживают у разных групп и слоев даже не все три указанных признака вместе, а только два или один, возможно в сочетании с какими-то другими признаками, и тогда говорят о разных элитах — городской и деревенской, интеллектуальной и церковной, экономической и политической и т. д.

В исследованиях по истории средневековой Руси применяются понятия *господствующий класс*, *знать*, *правлящий слой* и *элита*. Первое из этих понятий широко употреблялось в советской историографии⁸. В работах западноевропейских и американских учёных нескольких последних десятилетий установился определённый консенсус относительно того, что к средневековой Руси и России раннего Нового времени (XVI–XVII вв.) применимо, хотя и с некоторыми оговорками, то же понятие *знать*, какое употребляется применительно к другим обществам Европы⁹. И это понятие, и два других в приведённом ряду употребляются в современной русскоязычной историографии¹⁰.

Однако, часто прибегают и к аутентичным терминам источников. Один из таких терминов довольно точно соответствует понятию *знать* – бояре. Но об этом соответствии можно говорить лишь для времени до XV в., когда слово стало приобретать вторичные смыслы в новых социально-политических условиях — как придворный чин-звание при дворе московских великих князей и как слой мелких землевладельцев в Великом княжестве Литовском. Спорным остаётся в литературе, обозначало ли слово *бо(л)ярин* представителя знати до XII в.

работ по истории раннесредневековой знати 1960-1970-х гг. в переводе на английский язык с очень дельным и полезным введением Рейтера: *The Medieval Nobility* 1979.

⁶ Reuter 1997a, с. 179.

⁷ См., например: Werner 1994/1999; Feller 2006, с. 5–9.

⁸ Ср., например, относительно домонгольского периода: Свердлов 1983, с. 194 и след.

⁹ Оговорки касаются той особенности русской знати, которая бросается в глаза в сравнении России XVI–XVII вв. и европейских государств того времени, — обязанности нести «государеву службу» и зависимости привилегированного статуса от этой службы. На эту особенность указывают даже сами названия исследований: книга Роберта Крамми называется «*Aristocrats and Servitors*» (Crummey 1983), книга Хартмута Рюсса – «*Herren und Diener*» (Rüß 1994). Андрэ Берелович с долей иронии указывает на сходство двух названий (Berelowitch 2001, с. 14), но сам тоже делает акцент на эту особенность русской знати в XVI–XVII вв., в названии книги отсылая только не к самой идее службы, а к идее равенства всех знатных в обязанности нести эту службу – «*La hiérarchie des égaux*».

¹⁰ Ср., например, заглавия некоторых недавних русскоязычных работ: коллективный труд «Правящая элита Русского государства IX – начала XVIII вв.» (Правящая элита 2006), статья Б. Н. Флори «Правитель и знать в древнерусском летописании» (Флоря 2009).

Ещё два выражения, восходящие к аутентичной терминологии, используются нередко в литературе применительно к истории допетровской Руси-России в качестве научно-абстрагирующих понятий – *дружина* и *служилые люди*. Эти выражения оказываются удобными, когда историки хотят указать вместе и на знать (бояр), и на группы, которые были связаны с князьями и боярами службой, преимущественно военной, и, как правило, занимали в каких-то отношениях более выдающееся и/или привилегированное положение по сравнению с горожанами и сельским населением. В Западной Европе в раннее Средневековье этим группам отчасти соответствуют люди, которых называют «подвассалами». В позднее Средневековье «подвассалы» вместе с министриалами (несвободными слугами) составили слой «низшей знати»¹¹.

Однако, применение обоих выражений к домонгольскому времени вызывает сомнения. Понятие *служилые люди* восходит к эпохе Московского государства конца XV–XVII вв. и подразумевает строй военно-служебных и земельных отношений, который в домонгольский период даже ещё не начал складываться.

Сложнее со словом *дружина*. Оно известно древнейшим старославянским и древнерусским памятникам, но, с другой стороны, как уже не раз отмечалось в историографии, в этих памятниках оно выступает в разных и довольно расплывчатых и неопределённых значениях.

Именно анализ тех смыслов и представлений, которые стоят за древним словом *дружина* и за соответствующим современным понятием, является исходной точкой всего исследования в данной работе. Что надо понимать в научном смысле под *дружиной* как явлением, свойственным разным народам в разные исторические моменты? Какие именно люди на Руси в древнейший период обозначались этим словом? В какой мере это понятие, широко используемое в русскоязычной историографии, может соответствовать таким общепринятым в медиевистике терминам, как, например, *знать*, (*господствующий*) *класс* или *элита*? С этих вопросов начинается исследование в главах I и II, а в главах III и IV оно приводит к подробному анализу двух частей светской элиты древнерусского государства, важнейших в военном и политическом отношениях, – воинов, состоявших непосредственно на княжеской службе, и боярства, связанного с князем (правителем), но и сохранявшего некоторую независимость от него.

Понятию *дружина* посвящен подробный историографический обзор (глава I). Но каким бы важным оно ни было, им, конечно, далеко не исчерпываются все вопросы и проблемы, затронутые в историографии в связи с обсуждением роли знати/элиты в древнем государстве руси. Надо обозначить, хотя бы в общих чертах, развитие научных взглядов и представлений по этому вопросу.

* * *

Историки XVIII в. мало интересовались тем, что теперь мы называем социальной историей. На общество древности они смотрели как некую более простую и элементарную модель того общества, в котором жили сами. Любопытство историков, занимавшихся древнерусской историей, возбуждал вопрос о происхождении известных им придворных чинов и званий, но изыскания в этой области не уходили глубже начала – середины XVI в. Само же наличие «аристократии» уже в древнейшее время подразумевалось как вполне естественное и не требующее особых пояснений. В Древней Руси эту аристократию видели в боярах

¹¹ См. об этих группах из новой литературы обзорного характера: Hechberger 2004, с. 27–34, 91–99.

(называя их также «знатными», «вельможами») и службу князьям считали само собой разумеющимся и естественным их занятием¹².

Г. Ф. Миллер определял древних бояр так: «первенствующие великих князей Российских служители». «Управляли они не токмо гражданскими делами, но и в войне служили главными полководцами. До Петра Великого имя *боярина* заключало в себе все качества совершенного для пользы общества человека, в одной голове соединенные»¹³. Примерно так же о боярах писал И. Н. Болтин: «первоначальное наше Дворянство, разумея слово сие в том смысле, в каком оно ныне приемлется, были бояре: они-то были у нас, что в Риме Патриции, во всём пространстве их могущества и знаменитости». Кроме них, Болтин замечал в источниках упоминания гридей и считал их низшей знатью на службе князей¹⁴.

Н. М. Карамзин тоже смотрел на социальную иерархию с точки зрения «чиноначалия» и признавал высшую её степень в боярах, а более низкие – в отроках и гридях. Он объединял эти категории одним понятием *дружина*, которое заимствовал из древнерусских источников и которым его предшественники практически не пользовались. Противопоставляя «княжескую дружину» остальному населению, Карамзин считал возможным сопоставить её с древней германской дружиной и ссылаясь на знаменитое описание этой последней в труде римского историка I в. Публия Корнелия Тацита «Germania» (главы 13 и 14 – см. ниже в главе I, с. 50–51)¹⁵.

В трудах историков XIX в. обозначение людей на службе князьям *дружиной* становится общепринятым, и сохраняется идея о государственно-служилом характере боярства. Были замечены упоминания в летописи «старшей» и «младшей» дружины, и бояр стали приравнивать к первой, а остальные «чины» и «звания» относить ко второй. Впервые таким образом градации людей на службе князьям последовательно представил М. П. Погодин. При этом он подчёркивал экономическую и политическую несамостоятельность боярства в домонгольской Руси и их подчинённо-служебное положение по отношению к князьям. Этот тезис играл важную роль в его противопоставлении сильного монархического начала в Древней Руси европейскому «феодализму». Вполне в духе теории «официальной народности» Погодин указывал на всевластие знати и политическую анархию в Европе, превознося зато всенародное единство на Руси под дланью князей и царей. На Руси «не могло образоваться никакой значительной аристократии, и продолжалась только служебная, малочисленная, наборная, подчинённая князьям, не имевшая мысли состязаться с ними и выступать из своих пределов повиновения, службы и жалованья»¹⁶. Погодин развил компаративные сопоставления Карамзина. В устройстве «княжеской дружины» в X— первой половине XI в. на Руси он усматривал полную аналогию скандинавским дружинам, какими их представляла наука того времени по исландским сагам¹⁷.

Взгляд на древнерусское боярство и другие слои, причастные государственному управлению, как на некий придаток государственной власти, которую олицетворяли князья, был свойственен «государственной школе». К. Д. Кавелин, исходя из тезиса, что «вся русская история, древняя, а также новая, является прежде всего историей государства», считал отсутствие «аристократии» характерной особенностью Древней Руси в сравнении с Западной

¹² См., например: Щербатов 1770, с. 212–213, а также далее *passim*.

¹³ Миллер 1776/1790/1996, с. 202.

¹⁴ Болтин 1789/1793, с. 96. Ср.: Болтин 1788, 1, с. 441.

¹⁵ Карамзин История, 1, с. 163, 166–167, 304.

¹⁶ Погодин Исследования, 7, с. 141, ср. с. 61–141; ср.: 3, с. 501–503.

¹⁷ Погодин Исследования, 3, с. 228–232. Ср.: Стринингольм 1835/1861/2002.

Европой¹⁸. С. М. Соловьёв писал о боярах, что они всегда в источниках выступают «только с характером правительственным», а не «владельческим»¹⁹.

В общем, этот взгляд соответствовал основной тенденции развития общественной мысли в то время – с одной стороны, осознанию «особого пути» России, а с другой – признанию власти и народа как двух ведущих сил её исторического развития. Для своего времени такое понимание исторического процесса было вполне объяснимым и закономерным. В XVIII в. внимание было сосредоточено на деяниях правителей и правящих династий, а в XIX в. в сферу внимания попал «народ». За этим поворотом интереса стояли и влияние романтических идей («поиск корней», идеализация «простодушного селянина» и т. п.), и «славянофильские» искания, и «открытие» русской общины в середине XIX в., и воздействие Великих Реформ, и другие факторы. Русская наука при этом держалась в русле общеевропейских тенденций, и прежде всего сказывалось влияние передовой тогда немецкой медиевистики, для которой в первой половине XIX в. центральными стали понятия *Volk* (народ) и *Gemeinschaft* (общность, община). Все эти факторы придали парадигме «власть (государство) и народ» большую устойчивость, и в тех или иных формах она живёт и в современных научных и околонучных идеях, концепциях и интерпретациях.

«Государственная школа» в рамках этой парадигмы делала акцент на «власти», историки, настроенные в славянофильско-народническом духе, – на «народе», но тезис, что знать в Древней Руси не составляла привилегированный наследственный слой и не играла самостоятельную роль в социально-политической жизни, был общим для обоих течений мысли. Просто историки второго направления (например, К. С. Аксаков, И. Д. Беляев, Н. И. Костомаров) относили знать не к «государству», а к «земству». Некоторые из них соглашались, что могли быть какие-то «дружинные» бояре, другие таких и вовсе в источниках не замечали, но в любом случае главную роль все они отводили неким «земским» или «городовым» боярам – то есть «местной» знати вне княжеских дворов, сила которой была в её связи с городской экономикой и вечевой общиной и в давнем землевладении²⁰.

С середины XIX в. идея о существовании «земских» бояр в Древней Руси завоёвывает всё большую популярность и становится едва ли не такой же общепринятой, как идея о «княжеской дружине» как объединении разных категорий «служилых» людей. Большинство историков второй половины XIX в. совмещали эти две идеи, только по-разному расставляя акценты – кто-то считал важнее «земскую аристократию»²¹, кто-то – «дружинную»²². Некоторые пытались соблюсти баланс, не отдавая какой-то из этих «аристократий» предпочтения²³. Большинство склонялось также к признанию, что ещё в домонгольский период, примерно в XII в., «земские» и «дружинные» бояре «сливаются» в один класс боярства, наследственный, но не замкнутый, который «обладал обширным влиянием на княжеское управление и местное общество и в основе своего богатства имел землевладение»²⁴.

¹⁸ Кавелин 1847/1897, с. 6.

¹⁹ Соловьёв С. История, 1, с. 217–218, 2, с. 16–20.

²⁰ Одним из первых стал широко употреблять термин «земские (городовые) бояре» И. Д. Беляев, см., например: Беляев 1849, с. 1–20; Беляев 1850, с. 48 и др.

²¹ См., например: Хлебников 1872, с. 215–221 и др.

²² Так скорее у Загоскина: Загоскин 1875, с. 49–50. Ср. также: Порай-Кошиц 1874, с. XXII, 2 и след. Некоторые готовы были даже говорить о древнейшем периоде истории Руси как «дружинном» – ср., например: «Киевский период – по преимуществу дружинный или, говоря языком нового времени, аристократический» (Белов 1886, с. 10).

²³ М. Т. Яблочков, например, строго пополам делит свое исследование боярства Древней Руси. Отдельно он пишет о «служилом» боярстве, которое было связано с князем, отдельно – о «земском», которое было «до известной степени» наследственно (дружинное боярство ненаследственно) и основной доход извлекало из «частной поземельной собственности» (которой у дружинников не было): Яблочков 1876, с. 2–64.

²⁴ Довнар-Запольский 1904, с. 300–307.

Мысль об образовании ещё в домонгольское время некоего «влиятельного боярского класса» уже обозначила отход от парадигмы «народ и власть», и она отражала, конечно, накопление знаний о древнерусском обществе. Стало ясно, что и *государство* – это понятие условное, и *народ* – не нечто цельное, а целый ряд самых разных групп и слоев. Конкретно-исторические исследования выявили в древнем, кому-то казавшемся «примитивным», обществе значительную социальную и функциональную дифференциацию и, прежде всего, особую роль тех, кому принадлежали властные prerogatives, богатства (капитал) и земля.

Вместе с тем, процесс образования «боярского класса» на Руси в древнейшее время, то есть приблизительно до начала – середины XII в., оставался неясным. Стандартная модель, предполагавшая существование двух видов знати – «дружинных» и «земских» бояр, – не объясняла, как они взаимодействовали, какой вклад внесли в процессы развития государственных, социальных и экономических институтов, а также почему и как, собственно, они «слились» в один «класс». Наиболее серьезные и вдумчивые историки конца XIX – начала XX в. пытались так или иначе выйти за рамки этой модели.

Так, В. О. Ключевский противопоставлял «дружине» («военной аристократии») не «земских» бояр, а «торговую аристократию», сосредоточенную в городах. Оба этих элемента вышли, по его схеме, из некоего «военно-промышленного класса», который стоял у истоков государства руси в IX–X вв. Однако, в XII в. историк видит уже один «класс бояр», который «был везде служилым по происхождению и значению, создан был княжескою властью и действовал как ея правительственное орудие»²⁵. При каких обстоятельствах, по каким причинам и в силу каких факторов «древняя городская знать» переродилась в этот «класс», из схемы Ключевского не ясно. Следуя логике этой схемы, надо предполагать в XI в. какие-то особые действия княжеской власти, направленные на ограничения могущества «торговой аристократии» и «создание служилого класса», но историк не приводил данных из источников, свидетельствующих о такого рода действиях.

Заглавие известного труда В. И. Сергеевича, вышедшего в 1867 г., «Вече и князь» отсылало ещё к указанной выше парадигме «народ и власть». Однако в более поздних трудах историк отошёл от понимания народного самоуправления и монархической власти как главных или даже единственных движущих сил русской истории. Большое внимание в фундаментальном труде «Древности русского права» он уделил боярской думе, организации военной службы, землевладению и тому подобным вопросам. Не разделяя боярство на «дружинное» и «земское», Сергеевич считал, что сила этого «класса» выросла в древности из богатства, а значит, вне прямой зависимости от службы князю. «Звание боярина в древнейшее время является... не чином, раздаваемым князем, а наименованием целого класса людей, выдающегося среди других своим имущественным превосходством»²⁶. Основная характеристика боярства в политическом плане – это вольная служба князю на определённых, хотя и неписанных, условиях. Другое дело – это «класс придворных слуг»: по происхождению личные слуги князя, часто несвободные (например, тиуны), они привлекаются к исполнению «публичных функций», то есть государственному управлению, и составляют двор князя. В позднейшее время, к XVI в., понятие двора расширяется и поглощает бояр²⁷. Понятие дружины Сергеевич использует ограниченно – только в смысле войска, которое могло объединять разные категории людей на княжеской службе²⁸. В целом, заключения Сергеевича сделаны на источниках XII–XV вв., а данные древнейшего времени он, если

²⁵ Ключевский 1882/1902, с. 15–70, особ. 38–42, 47–51; Ключевский 1904/ 1987, с. 174–175, 250–253.

²⁶ Сергеевич Древности, 1, с. 403.

²⁷ Там же, с. 454, 458.

²⁸ Там же, с. 604–610.

вообще и использует, то иллюстративно. А, например, утверждение, что боярами в древности назывались люди, выдающиеся своим «имущественным превосходством», вообще не обосновано конкретными свидетельствами.

Некоторое развитие от ранних трудов к поздним претерпели и взгляды Н. П. Павлова-Сильванского. Сначала он придерживался обычной в то время точки зрения о параллельном существовании служилого и земского боярства²⁹. В позднейших трудах, посвященных доказательству феодального характера древнерусского общества, он древнейшими считал «дружинные отношения», которые только со временем, с ростом землевладения боярства, стали перерастать в вассальные (и тем самым боярство стало «местным» землевладельческим классом)³⁰. В перемене его взглядов сказалось, очевидно, влияние трудов А. Е. Преснякова, который делал акцент на «дружинном» происхождении боярства и вообще всех социальных слоев и институтов, связанных с государственной (публичной) властью.

В центре концепции А. Е. Преснякова стояла идея «княжого права» – то есть комплекса норм, институтов и представлений, который постепенно охватывает и «осваивает» население, живущее древним «родовым» и «общинным» устройством. В этой концепции «гипотеза о земских боярах» обнаруживает «ненужность для объяснения каких-либо явлений исторической жизни»³¹. Зато особенную силу Пресняков придал понятию дружины, которая у него предстаёт главным элементом «княжого права». Из «дружины» вырастает боярство, которое лишь в XII в. получает некоторое самостоятельное, независимое от князя значение, смыкаясь с городской «стихией» и обзаводясь вотчинами.

Идеи Преснякова выросли из «государственной школы» русской историографии, но они и преодолевали ее. «Государственная школа» смотрела на знать как на элемент, подчинённый власти правителя, в той или иной связи с концепцией «закрепощения сословия». Пресняков отошёл от характеристики знати с точки зрения её обязанностей и «инструментально-вспомогательного» характера и в центр поставил идею «дружинного единства» князя и его людей. Оригинальная концепция Преснякова (который во многом ориентировался на идеи современной ему западной медиевистики) оказывает влияние на историков и сегодня, и на неё я буду ссылаться ниже ещё не раз.

В советское время первоначально сказывалось влияние блестящих «формул» В. О. Ключевского, и школа М. Н. Покровского развивала концепцию торгового капитализма на Руси (с важной ролью рабовладения и т. п.). Однако, в 1930–1940-е гг. эти идеи были оставлены, и разрабатываться стала марксистская теория «формаций», в которой древнерусское общество интерпретировалось как феодальное. В этой концепции, развитой главным образом трудами Б. Д. Грекова и С. В. Юшкова, знати было уделено место «господствующего класса», и в этом отношении ей придавалось большое значение.

В каком-то смысле выделение знати как «господствующего класса» в советской историографии соответствовало общеевропейской тенденции в медиевистике. Выше уже было отмечено, что как раз в середине XX в. в немецкой медиевистике была предложена концепция, по-новому объяснявшая происхождение социального неравенства и властных институтов – теория «господства знати» (*Adelsherrschaft*). Разумеется, соответствие теорий «русского феодализма» и *Adelsherrschaft* было весьма относительным – лишь постольку, поскольку шла речь вообще о *господстве*. Могущество знати и его сущность эти теории представляли совсем по-разному. Немецкие медиевисты середины XX в., работая ещё в рамках традиционной немецкой юридической школы (*Verfassungsgeschichte*), выводили господство знати из древних архаических корней, увязывая его с «прирождёнными» правами,

²⁹ Павлов-Сильванский 1898/2001, с. 3–14.

³⁰ Павлов-Сильванский 1910/1988, с. 425–429. Ср. ниже в главе I – с. 00.

³¹ Пресняков 1909/1993, с. 209, примечание 231.

харизмой и т. п.³² Советские историки, встав на позиции «исторического материализма», основу могущества «господствующего класса» видели в землевладении. Зарождение боярского вотчинного (сеньориального) землевладения на Руси относилось к самым древним временам (VIII–X вв.), и с ним связывалось образование государства. Этих древних бояр-землевладельцев обозначали терминами, принятыми в историографии XIX – начала XX в., – «земские бояре» или «местная знать».

Другим важным тезисом концепции Грекова-Юшкова было признание «прогрессивной» роли за знатью лишь на начальном этапе становления государства, на Руси — до конца XI – середины XII в. В последующий период русской истории её роль оценивалась уже только в негативном ключе – как деструктивная, реакционная, эксплуататорская, антицентрализаторская и т. д. Такие оценки получили особенное развитие в работах Б. А. Рыбакова. По его мнению, в XI–XII вв. происходящее из племенной знати «местное боярство» «явственно становится заметной и самой крупной силой в стране», охваченной «феодальной стихией». Именно интересы боярства были главным фактором в установлении политической («феодальной») раздробленности на Руси в начале – середине XII в. До этого времени между князьями, олицетворявшими государственное начало, и боярством был «мир», а уже сыновья Юрия Долгорукого, Изяслава Мстиславича и Ярослава Осмомысла «бились не на живот, а на смерть с боярством своей земли», опираясь на «младшую дружину» (дворян) и на города³³.

Вместе с окостенением и идеологизацией концепции Грекова-Юшкова такого рода оценки стали преобладать, и изучение «класса феодалов» в советской историографии не поощрялось и ограничивалось источниковедческими проблемами. В то же время ещё в рамках этой историографии наметился отход от некоторых принципиальных положений теории «феодальной формации», и, в частности, большинство учёных фактически отказались от тезиса о раннем зарождении землевладения сеньориального типа на Руси³⁴.

В историографии последних десятилетий особняком стоит концепция «общинного» строя Древней Руси, которую развивают И. Я. Фроянов и его ученики и которая вообще не признаёт в домонгольской Руси знати как особого социального слоя³⁵. В этой концепции легко различимы отголоски «общинно-вечевой» теории второй половины XIX в. Если не считать работ этого «направления», в остальных явно прослеживается возврат к идеям Преснякова и других представителей «государственной школы», которые не представляли себе элиты в Древней Руси вне «дружинно-служилой» организации.

А. А. Горский не признаёт никакой знати, кроме служилой; бояре для него – только верхушка «дружины» («старшая дружина»). С Пресняковым он сходится в том, что лишь в XII в. знать приобретает заметную политическую самостоятельность, но расходятся они в том, как понимать основы этой самостоятельности: Пресняков указывал на связь «влиятельного боярского класса» с «городской вечевой стихией», а Горский считает основой боярского

³² Конечно, сегодня такой подход едва ли имеет сторонников. В «антропологически» ориентированной истории, воспринявшей импульсы французской историографии, политико-юридические методы и построения уже оставлены (см., например: Pohl 2006, с. 16–27). Механизмы практического воплощения доминирования знати представляются в гораздо более сложном и многостороннем виде, чем некая прирождённая харизма (см., например, обсуждение теории *Adelsherrschaft* в контексте современной историографии: Hechberger 2005, с. 34–69).

³³ См., например: Рыбаков 1959, с. 56–57; Рыбаков 1966, с. 530, 532, 549, 574–580; Рыбаков 1982, с. 428–430, 448, 469–479.

³⁴ Критика этого тезиса является общей для учёных разных школ и направлений. Ещё в советскую эпоху тезис критиковали и Л. В. Черепнин, выдвинувший теорию «государственного феодализма», и И. Я. Фроянов, взявший на вооружение идею А. И. Неусыхина об «общинности без первобытности», и учёные, работавшие за пределами СССР и ориентировавшиеся на классическую русскую дореволюционную историографию.

³⁵ См.: Фроянов 1974/1999; Фроянов 1980; Фроянов, Дворниченко 1988; Фроянов 1995; и др.

могущества развитие вотчинного землевладения³⁶. В последнем пункте с Горским солидарен М. Б. Свердлов, который тоже видит причину образования боярского «привилегированного сословия» в XII в. в развитии его землевладения, хотя в отличие от Горского он допускает существование в X–XI вв. некоей «местной знати», помимо «княжих мужей»³⁷. П. П. Толочко рассматривает знать не столько как социальный слой, сколько как элемент государственного управления, выстроенного по вертикали во главе с князем³⁸.

Акцент, который Горский и Свердлов делают на землевладении знати как основе её самостоятельности, соединяет их с концепцией феодализма в трактовке Грекова и Юшкова, но решительно разрывает с концепцией «торговых городов» Ключевского, которую учитывал в своих построениях Пресняков. Между тем, хотя теория Ключевского о «торгово-промышленном» становлении древнерусского государства, конечно, в каких-то пунктах устарела, в своей сути она оказывается созвучна современным исследованиям, особенно археологическим, которые подчёркивают значение торговли как важнейшего фактора в становлении этого государства³⁹.

Концепция «княжого права» Преснякова — безусловно, яркая и интересная, но она принадлежит своему времени (подробнее об этом будет сказано в главе I). Подчёркивая роль дружины в древнейшее время на Руси, Пресняков отталкивался, в основном, от современных ему работ немецких и французских медиевистов (конца XIX – начала XX в.). Многие тезисы и выводы этих работ были позднее пересмотрены. В современной западноевропейской историографии дружина, если вообще и рассматривается как инструмент господства, то скорее не правителя, а вообще знатных людей (как элемент «господства знати»). Многие авторы вслед Карамзину и Преснякову сопоставляют классическое описание германской дружины у Тацита и сообщения древнерусских летописей о «дружинах» князей Руси XI–XII вв. Какое-то сходство, допустим, можно разглядеть, но всё-таки возникает большое сомнение, можно ли вести речь об одном институте. Обращение к английской, немецкой, скандинавской, польской и чешской историографиям убеждает, что сравнение скорее надо вести не с Тацитом, а с синхронными раннегосударственными образованиями Центральной и Северной Европы IX–XII вв. (на этом делается акцент в главе III данной книги).

В современных русскоязычных исследованиях, так или иначе затрагивающих положение и роль знати/элиты в раннем государстве Руси, вообще явно недостаточно учитывается европейская историография, в которой отразились и результаты конкретно-исторических исследований, и новые подходы. В интересной книге немецкого историка Х. Рюсса⁴⁰ предпринята попытка применить некоторые новые взгляды к изучению древнерусской знати, но в работе делается акцент на более поздний период (XIV–XVI вв.) и она, к сожалению, мало известна русскоязычным авторам.

Настоящая работа нацелена как раз на то, чтобы вписать, хотя бы отчасти и в некоторых аспектах, русскоязычную историографию XVIII – начала XXI в., посвященную военно-политической элите Древней Руси, в контекст развития европейской медиевистики. Выполнение этой задачи тесно связано со стремлением, о котором говорилось выше, прояснить некоторые базовые понятия, употребляемые в этой историографии (прежде всего, понятие *дружина*). Кроме того, в работе, естественно, будут сформулированы ответы на обозначенные дискуссионные вопросы — кем, собственно, были бояре древнейшего времени, следует ли различать в их среде неких «служилых» и «земских», как они соотносились с другими

³⁶ См.: Горский 1989, особ. с. 82–88; Горский 2004, с. 105–114.

³⁷ См.: Свердлов 1983, с. 194–222; Свердлов 2003, с. 169–180 и др.; Свердлов 2006.

³⁸ Толочко П. 2011.

³⁹ Ср., например: Мельникова 1995, Носов 2005.

⁴⁰ Rüb 1994.

общественными элементами, состоящими в элите или причастными к ней, прежде всего, теми, которые были тесно связаны с княжеской властью и имели выдающееся военное значение.

* * *

Несколько слов о методах исследования и об источниках, на которые оно опирается.

Работа построена на анализе текстов. Её общие историко-«социологические» задачи предполагают довольно широкий охват текстов разного происхождения, потому что при отсутствии документов, в которых более или менее систематически, а особенно с правовой точки зрения, отражена социальная иерархия, историк вынужден следовать просто за упоминаниями тех или иных социальных категорий во всех доступных источниках. В каждом случае требуется не только тщательная источниковедческая оценка того или иного упоминания, возникшего при определённых условиях и поставленного в определённый контекст внутри соответствующего памятника. Необходимо также отдавать себе отчёт, что действительность, отражённая в этих свидетельствах, происходящих из глубокой древности, была чужда той рационализации и систематичности (и в общем её осмыслению, и в терминологии), к какой мы привыкли или какую ожидаем в современном обществе. Невозможно представить себе эту действительность, если не учитывать не только сохранность и происхождение того или иного текста, но и его литературные особенности, взгляды и мировосприятие его автора и прочие многочисленные обстоятельства его создания и бытования в социально-культурной среде.

В некоторых терминологических работах, к сожалению, эти обстоятельства учитываются далеко не всегда, и подбор упоминаний тех или иных слов и терминов приобретает, так сказать, накопительно-механический характер, не сопровождаясь анализом текстов, из которых они происходят, и исторических условий, которые породили и тексты, и соответствующие слова. Этот недостаток терминологических работ часто связан с другим, который можно назвать «терминологическим фетишизмом», или, как выражается автор недавней рецензии на одну из таких работ, «абсолютизацией терминологического подхода»⁴¹ – то есть когда некий социальный факт признаётся исторически реальным только в том случае, если в источниках фиксируется некоторое ожидаемое (принятое) обозначение для него. Такой подход ведёт часто к полной несуразице. Например, он диктовал бы, что на Руси отсутствовала традиция совета князя с высшей знатью вплоть до XV в., когда впервые в источниках появляются упоминания «боярской думы». Давно уже выяснено, что, хотя именно это выражение не фиксируется в более ранних памятниках, сама по себе практика такого рода совещаний сложилась в древнейшее время и она обозначалась либо просто словами *дума* и *совет*, либо даже другими словами и выражениями, в том числе и описательными глаголами типа *речи*, *сдумати* и т. п.⁴²

Преодолеть эти недостатки, в общем, нетрудно – терминологический анализ просто должен быть не самоцелью, а только предварительной «вспомогательной» работой для исторического обобщения, которое исходит из того, что реальность всегда шире и многообразнее, чем случайные отражения её в случайно сохранившихся источниках. Именно поэтому в данной работе, например, специальный раздел (в главе IV) посвящён анализу данных «Русской Правды», хотя в этом памятнике почти не упоминаются ни *дружина*, ни *бояре*. Ведь ясно, что эти данные в любом случае имеют первостепенное значение для работы, направленной на изучение социальной стратификации, поскольку этот правовой кодекс даёт некий,

⁴¹ Лукин 2009, с. 238.

⁴² См.: Ключевский 1882/1902; Горский 1989, с. 61–64.

более или менее последовательный (хотя, как будет подчёркнуто далее, односторонний) взгляд на общественную иерархию.

Такой же «вспомогательный» характер носят и другие аналитические методики, которые применяются в отдельных местах книги, – например, сравнение данных древнерусских источников со свидетельствами, происходящими из других стран и регионов. Сравнительно-историческая перспектива предполагается и общим подходом данной работы (прояснение базовых понятий, обращение к зарубежной историографии), но особенно уместен компаративный анализ в тех случаях, когда свидетельства древнерусские и иностранного происхождения дополняют друг друга, позволяя описать и осмыслить то или иное явление во всей его полноте.

Разумеется, этот анализ тоже имеет свои недостатки, на которые в литературе уже неоднократно обращалось внимание, – прежде всего, опасность реконструировать из данных, происходящих из разных стран и времён и возникших в конкретных, каждый раз особенных, условиях, некую модель, которая как будто всё объясняет, но которая на самом деле, как показывает дополнительная проверка, едва ли где-то в реальности существовала. Такого рода модели создавали, например, историки немецкой политико-юридической школы (*Verfassungsgeschichte*) XIX— первой половины XX в., пытаясь реконструировать некое древнее «германское» устройство, но ни одна из них не выдержала критику позднейшей историографии, которая иронически называла их «пангерманистскими» (ср. в главе I, например, о построениях Г. Бруннера).

На такую опасность указывали недавно критики интересной книги польского историка Кароля Модзелевского, в которой данные из славянских регионов X–XII вв. сравниваются со скандинавскими данными приблизительно того же времени, а также свидетельствами о раннесредневековых германских королевствах⁴³. Не следует, однако, впадать в крайности, и надо защитить подход польского историка. Он обосновывает возможность сравнения в «антропологически схожей ситуации», то есть в том случае, когда в тех или иных обществах сопоставимы условия жизни и их восприятие в культуре. В таком случае сравнение приводит не к созданию абстрактных конструкций, а с помощью правильно подобранных аналогий и с учётом «категорий» архаического сознания помогает выявить некие сущностные, общие для разных народов и регионов принципы и механизмы адаптации человека к среде, перераспределения ресурсов и социально-политической организации. Такое сравнение не нивелирует уникальное, а наоборот, заставляет осмыслить его как в локальном, так и в общечеловеческом контексте⁴⁴.

Отдельно надо сказать о методике работы с летописями.

Одна из главных трудностей в исследовании начальной истории Руси состоит в том, что мы обречены смотреть на эту историю через призму раннего летописания и, прежде всего, «Повести временных лет» (ПВЛ⁴⁵). ПВЛ— единственный источник сравнительно древнего происхождения, который даёт связное и довольно подробное изложение истории Руси с конца IX до начала XII вв. Именно на информации ПВЛ и других летописей построено большинство бытующих в историографии концепций древнерусской государственности. Однако, можно ли и, если можно, то в какой степени доверять этой информации?

⁴³ См. рецензии П. Гири (P. Geary) и С. Гаспарри (S. Gasparri) на итальянский перевод книги К. Модзелевского «Варварская Европа» (Modzelewski 2004) в итальянском журнале «L'Indice de libri del mese» (nr. 11, 2008). Ср. ответ Модзелевского критикам в интервью, опубликованном в журнале «Rêti Medievali», в т. XI (2010/1), с. 39–44. Ср. мою рецензию на книгу Модзелевского: Стефанович 2006б.

⁴⁴ В таком духе оправдывал сравнительно-исторический подход Марк Блок (см.: Блок 1928/2001, особ. с. 75–82, 88).

⁴⁵ Здесь и далее везде в книге используются условные сокращения для летописных памятников, список которых приведён в конце книги.

Летописи донесли до нас тексты, которые претерпели редакторскую правку (иногда очень значительную) на разных этапах их бытования в древнерусской книжности вплоть до позднего средневековья. Так, ПВЛ была создана в начале XII в., но дошла до нас в разных видах в летописных списках, самый ранний из которых датируется 1377 г. (Лаврентьевская летопись — ЛаврЛ). С другой стороны, её создание отстоит от древнейших событий истории Руси конца IX–X в. на полтора-два столетия. Естественно, в описании этих событий в ПВЛ можно подозревать и легендарность, и всякого рода неточности.

Кроме того, летописцы, в том числе и автор или авторы ПВЛ, были людьми своего времени. В изложении событий прошлого они не только зависели от тех источников информации, которые были в их распоряжении, но и руководствовались политическими пристрастиями, идеологическими соображениями, личными интересами, наконец, просто «картиной мира», сложившейся в их головах. Имея в виду цели данного исследования, важно также отметить, что авторы, причастные к древнейшему летописанию, стояли на ярко выраженной княжеско-династической точке зрения. Цель их работы состояла в демонстрации избранности одной династии (Рюриковичей), которой предопределено свыше править «Русской землёй», и никакой альтернативы ни сути, ни форме такого политического порядка не мыслилось. В этой перспективе всем другим обстоятельствам и событиям, кроме истории династии, отношений между её представителями и правителями других государств и т. п., уделялось мало интереса и внимания, а с другой стороны, эти события и обстоятельства оценивались и выставлялись только в свете выгодном или, по крайней мере, нейтральном для этой династии. Взгляд этих древних авторов был безусловно «монархическим», а «демократическое» и «олигархическое» начала, которые в реальности, без сомнения, существовали, на страницах летописи отражались лишь обрывочно и искажённо.

Сложности в интерпретации данных начального летописания были уже, в основном, осознаны в историографии в конце XIX — начале XX в., особенно после того как фундаментальные труды А. А. Шахматова убедительно показали, с одной стороны, тенденциозность древнерусского летописания, а с другой — его весьма непростую историю. Можно даже сказать, что в каком-то смысле Шахматов скомпрометировал летописи как источник по истории Руси, особенно для древнейшего периода до начала-середины XI в. Не случайно, что уже непосредственный ученик Шахматова М. Д. Присёлков предпринял первую попытку опереться в изучении этой истории на источники, независимые от летописи и по времени создания более близкие к засвидетельствованным в них фактам. Он прямо писал, что ПВЛ и «предшествующие ей летописные своды» в повествовании до начала XI в. — «источник искусственный и малонадёжный», и ставил своей задачей «положить в основу изложения» источники «современные событиям», «проверяя факты и построение "Повести [временных лет]" их данными»⁴⁶.

В определённых случаях — прежде всего, тогда, когда не-летописные источники просто более надёжны и подробны по сравнению с летописью — подход Присёлкова оказывается вполне применим и оправдан⁴⁷. В данной работе привлекаются помимо летописи разные источники X–XI вв., в том числе иностранного происхождения, но первое место в их ряду занимают древнейшие международные договоры Руси — заключённые с Византией в 911, 944 и 971 гг. (специальный раздел в главе IV). По данным, содержащимся в договорах, о тех людях, которые представляли русь в договорном процессе, мы можем составить представление о составе её правящей верхушки. Эти данные сопоставляются с известиями о руси в практически современных им трактатах Константина Багрянородного, и это сопоставление

⁴⁶ Присёлков 1941, с. 215–216.

⁴⁷ Подход имеет сторонников в современной историографии, в том числе и весьма радикальных, которые сознательно почти полностью абстрагируются от летописей в изложении древнейшей истории Руси (Франклин, Шепард 1996/2009).

заставляет во многом по-новому смотреть на древнейшую историю Руси и с меньшим доверием воспринимать сведения начального летописания.

Привлекаются также древнерусские не-летописные тексты, которые восходят к XI в. Из этих памятников преобладают литературные произведения, в которых мало говорится о социальных отношениях и структурах. Но одно из них оказывается всё-таки весьма информативным в этом смысле – это Житие Феодосия, написанное знаменитым Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря, скорее всего, в конце 1080-х гг. или, может быть, в самом начале XII в. Житие дошло до нас в довольно исправном списке середины XII – начала XIII в. (в составе знаменитого «Успенского сборника») и представляет уникальный источник по истории Руси в XI в. Большую ценность, как уже говорилось, имеют данные «Русской Правды». При использовании этих данных я исхожу из тех общепринятых классификации и датировки разных её видов и частей, за которыми стоит мощная исследовательская традиция XVIII – начала XXI в. и которые в суммированном виде представлены в известной работе М. Н. Тихомирова⁴⁸. «Краткая Русская Правда» или «Краткая редакция Русской Правды» рассматривается как юридический свод, возникший в конце XI – начале XII в. (до создания «Устава Мономаха»), а «Пространная редакция» – как свод, восходящий ко второй половине XII – началу XIII в.⁴⁹

Обращение к не-летописным источникам помогает преодолеть «летописеццентричное» восприятие древнерусской истории, но всё-таки, на мой взгляд, нельзя отказываться совершенно от летописи как источника по истории Руси в X–XI вв. Важно только сознавать особенности этого источника и, прежде всего, иметь в виду сложную текстологию начального летописания. Однако в этом отношении в науке было сделано немало, и сегодня можно опереться на определённые положительные результаты, достигнутые многочисленными специальными исследованиями.

Главные достижения в изучении раннего летописания связаны с именем А. А. Шахматова. Важнейшая идея Шахматова состояла в том, что ПВЛ – это более поздний этап летописания по сравнению с летописным сводом, который был создан в 1090-е годы в Киеве и отразился в общих чертах в Новгородской 1-й летописи младшего извода (Н1Лм). Этот свод он условно назвал «Начальным» (НС). Другая принципиальная идея, продолжая первую, утверждала существование и других этапов летописания, предшествующих НС⁵⁰.

Несмотря на критику этих двух взаимосвязанных идей, раздающуюся и сегодня⁵¹, они, как и в целом шахматовский подход к изучению древнерусского летописания⁵², получили многостороннее развитие в работах исследователей, воспринявших подход А. А. Шахматова, – М. Д. Присёлкова, А. Н. Насонова, М. Н. Тихомирова, Л. В. Черепнина, Д. С. Лихачёва, Я. С. Лурье, О. В. Творогова и др. По-новому аргументированы и подкреплены эти идеи были в недавних работах А. А. Гиппиуса с применением лингвистических методов⁵³.

Вместе с тем, далеко не все из тех или иных отдельных соображений или наблюдений Шахматова были позднее поддержаны, и в особенности это касается схемы древнейшего летописания, которую он предложил в знаменитой работе «Разыскания о древнейших рус-

⁴⁸ Тихомиров 1941/1953. Ср. последние работы в русле этой традиции: Baranowski 2005; Feldbrugge 2009, с. 33–58.

⁴⁹ Попытка коренным образом пересмотреть эту схему, предпринятая недавно А. П. Толочко (см.: Толочко А. 2009), представляется мне неубедительной (хотя, вместе с тем, в работе и содержатся интересные мысли и наблюдения по истории текста «Русской Правды», древнерусской денежной системы и др.).

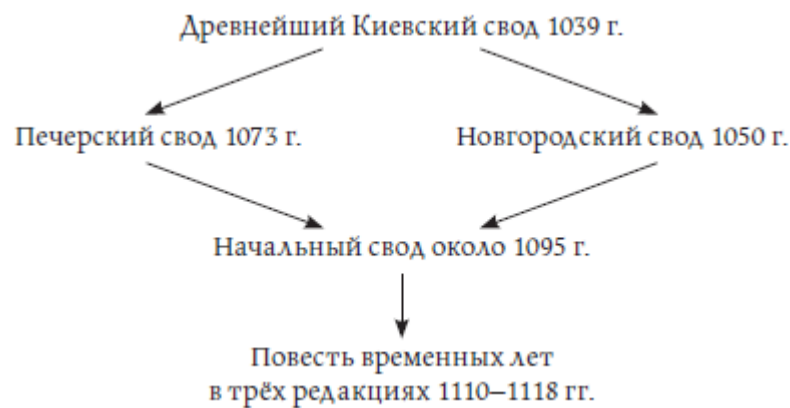
⁵⁰ Идею о «Начальном своде» Шахматов выдвинул уже в ранних работах и продолжал развивать и в самых последних, написанных незадолго до смерти, см., например: Шахматов 1897/2003; Шахматов 1916–1920/2003.

⁵¹ См., например: Ostrowski 2007.

⁵² См. ёмкую и точную характеристику метода Шахматова: Лурье 1976, с. 88 и след.

⁵³ См., прежде всего: Гиппиус 2001, Гиппиус 2002, Гиппиус 2006, Гиппиус 2007–2008, Гиппиус 2009, Гиппиус 2010, Гиппиус 2012.

ских летописных сводах»⁵⁴. Начало летописания учёный относил ко времени единоличного киевского правления Ярослава Владимировича, а заключительный этап представляла ПВЛ (позже Шахматов установил наличие трёх её редакций). Схема выглядела так:



Точно в этом виде никто из указанных исследователей не поддержал эту схему. Наиболее сомнительным звеном шахматовской схемы оказалась идея об особом новгородском своде, который влился в киевское летописание ещё до НС. На этапы до НС стали смотреть скорее как на нарастание киевского летописания. Следы независимого летописания в Новгороде в XI в. обнаруживаются, но не в НІЛм и не в списках ПВЛ, а в летописях группы так называемого «Новгородско-Софийского свода» (НовСофС)⁵⁵. В то же время, помимо главной идеи о первичности НС по отношению к ПВЛ, ряд учёных поддерживали эту схему ещё в двух пунктах, высказавшись в пользу существования, во-первых, свода 1070-х гг. как непосредственного предшественника НС, и во-вторых, некоего древнейшего повествования об истории X в. и, возможно, начала XI в. Всё убедительнее звучат в последнее время утверждения, что это повествование не имело (или почти не имело) абсолютных датировок и носило в целом более светский характер, чем последующее летописание. Создание его относят к рубежу X–XI вв.⁵⁶, 1030-м гг.⁵⁷ или 1016–1017 гг.⁵⁸

Не углубляясь в детали шахматовской реконструкции начального летописания и споры вокруг неё⁵⁹, для целей данного исследования достаточно отметить несколько важнейших пунктов. Во-первых, НІЛм и списки ПВЛ представляют повествование до начала XI в. в двух версиях, которые явно связаны друг с другом, но при этом во многих местах существенно расходятся. Как бы ни объяснять происхождение этих двух версий (а в особенности, если принимать идею Шахматова о НС), ясно, что они отражают так или иначе летописание XI в., а значит, их сравнительный анализ является необходимым элементом описания древнейшей истории Руси. В данной работе такого рода сравнение наиболее последовательно проводится в одном из разделов главы II, где терминологический анализ отталкивается от шахматовской схемы начального летописания. Во-вторых, в части за XI в. НС отразился в НІЛм лишь в отрывках, и здесь возможности реконструкции первоначального текста сильно ограни-

⁵⁴ Шахматов 1908/2002.

⁵⁵ Ср.: Кучкин 19956; Милютенко 2007.

⁵⁶ Тихомиров 1960/1979, с. 64; Гиппиус 2012, с. 49–61.

⁵⁷ Łowmiański Początki, 5, с. 120.

⁵⁸ Цукерман 2009; Михеев 2011, с. 122.

⁵⁹ Ср., например, несколько крупных работ, вышедших только в последнее десятилетие, в которых исследуется раннее летописание с историко-литературной точки зрения, но которые весьма различаются по подходам и по общим заключениям: Толочко П. 2003; Данилевский 2004; Гиппиус 2007–2008; Гиппиус 2012; Цукерман 2009; Михеев 2011; Гимон 2012.

чен, и приходится опираться, в основном, на ПВЛ. В-третьих, сама ПВЛ не является неким целостным текстом, невредимо дошедшим до нас. Этот памятник искусственно выделяется из разных летописей, в которых он сохранился далеко не в однообразном виде. В древнейших списках ПВЛ обычно выделяют две основные группы – ПВЛ по ЛаврЛ, Радзивилловской (РадзЛ) и Московской Академической (МосАкЛ) летописям, а с другой стороны, ПВЛ по спискам Ипатьевской летописи (ИпатЛ). В особой версии ПВЛ отразилась также в летописях группы НовСофС. Не все учёные следуют концепции Шахматова о трёх редакциях ПВЛ⁶⁰, но разночтения в списках ПВЛ (на которых эта концепция построена) могут быть весьма существенны и должны учитываться в историческом анализе.

Опора на данные начального летописания (в составе НС и ПВЛ) определяет в значительной степени хронологические рамки работы. Но ограничение исследования рубежом XI–XII вв. объясняется ещё двумя обстоятельствами. На это время, как будет показано, приходится существенная перемена в положении важного элемента военно-политической элиты Руси – воинов, состоявших на жалованье у князей. Кроме того, для периода до XII в. крупные разногласия вызывает объяснение сущности боярства, тогда как его положение как высшего общественного класса в XII в. представляется подавляющему большинству учёных бесспорным. Вместе с тем, исследование в ряде случаев выходит за этот рубеж, и привлекаются данные XII–XIII вв. Обращение к этим данным необходимо отчасти для полноты анализа того или иного термина, употреблявшегося не только в X–XI в., но и позднее, отчасти для прояснения сущности и позднейшей судьбы явлений, корни которых уходят в глубокую древность. С другой стороны, исследование слова *дружина* уводит и в более древнее время, заставляя обратиться к старо- и церковнославянским текстам (о методике работы с этими текстами говорится в соответствующем разделе в главе II).

Фактически в книге речь идёт о древнейшем периоде государства под именем *русь*. Об этом государстве мы располагаем сравнительно ясными свидетельствами приблизительно с начала X в., а данные, относящиеся к его предыстории в IX в., весьма скудны, неоднозначны и вызывают большие споры. Понятие государства в данной работе используется в том широком смысле, в каком о государстве принято говорить в русскоязычной историографии, – то есть для обозначения некоей (пусть элементарной) относительно централизованной политической системы, которая охватывает население на определённой территории некими обязательствами по фиску, суду и управлению. Разумеется, применительно к Средневековью нельзя вести речь о государстве его теперешнем понимании, – публичная всеохватывающая власть, бюрократия, представления об общем благе и т. п. В раннесредневековых политических образованиях (политиях) монополия власти (с соответствующим легитимным принуждением) и представления об этнополитическом и культурном единстве населения, признающего эту власть, лишь начинали складываться. Слово *русь* используется для обозначения государства и его территории с прописной буквы, для обозначения этноса – со строчной.

⁶⁰ См., например, изложение этой концепции в введении к публикации ПВЛ, подготовленной Шахматовым: Шахматов 1916/2003.

Глава 1

Понятие дружины

В русскоязычной историографии, когда речь идёт о Древней Руси, слово *дружина* часто принимается как нечто само собой разумеющееся. Дружина – это ближайшие соратники князя, люди на его службе и в то же время правящий социальный слой или господствующий класс. Обычно утверждается преемственность древнерусской дружины от (обще)славянской: организация или даже «корпорация» людей на службе древнерусских князей выросла из древней «домашней» дружины вокруг «племенных» вождей⁶¹.

Такое представление уже давно и прочно вошло не только в научную литературу, но и в учебники, и многим кажется вполне естественным и приемлемым. Естественность этого представления во многом происходит из самих наших источников и, прежде всего, древнейших летописей, которые очень часто упоминают «дружину», описывая те или иные события домонгольской эпохи: князь советуется с «дружиной», призывает (созывает) её на войну, поручает ей те или иные задания. «Дружина» в изображении летописцев – это второй по значению (после династии князей Рюриковичей) элемент общественно-политической жизни Руси.

Дружина, таким образом, является и аутентичным словом источников, и научным понятием. Казалось бы, нет ничего плохого в том, что научная терминология совпадает со словоупотреблением источников. Мы не навязываем источникам свои понятия, чуждые той отдалённой эпохе, и совпадаем в наших определениях с современниками, избегая недоразумений, – «вещи называются своими именами».

Однако удобство такого рода совпадений бывает обманчивым. Употребляя древнее слово, мы часто не задумываемся над его первоначальным содержанием и над тем, насколько современные значения слова соответствуют значениям древним и тем реалиям, которые описывались этим словом. И слово *дружина* – это как раз тот случай, когда от исследователя требуется сугубая осторожность. Присмотревшись к летописи, мы увидим, что слово, во-первых, имеет несколько значений, а во-вторых, эти значения довольно широки и расплывчаты. В то же время, обратившись к трудам историков, которые писали о дружине, увидим, что в массе тех или иных конкретных деталей – когда именно существовала дружина, кто именно входил в её состав, каково было её военное и политическое значение и т. д. и т. п. – их мнения расходятся чрезвычайно сильно, а иногда просто взаимоисключающим образом. На деле оказывается, что язык источника и язык (или, если угодно, дискурс) современного учёного расходятся, теряя общие смысловые опоры и оказываясь в разных понятийных плоскостях.

Научные понятия и представления – это совсем не некая данность, свалившаяся как манна небесная в некоем первозданном виде, а продукт весьма сложного и неоднолинейного познавательного процесса. То понятие дружины, которое сложилось в науке, – не исключение. Историки XIX в., описывая события древнерусской истории – а в сущности, лишь пересказывая и комментируя летопись, – ей вслед говорили: князь посоветовался со своей дружиной, князь отправился в поход с дружиной и т. д. Вопросы, что это за дружина, откуда она взялась, из кого именно состояла и в каких отношениях её члены стояли к князю и различным социальным слоям, долго не вставали – всё казалось ясным и естественным и оставалось «неотрефлексированным». Отсутствие интереса к этим вопросам объяснялось также и тем, что русскую науку XIX в. интересовали не столько люди в окружении князя, сколько сначала

⁶¹ См., например: Горский 1989, с. 3, 13–14, 25–38; Данилевский 1998, с. 101 и след.

само становление монархического начала, а затем его отношения с народом – «общиной» или «вечем». Однако постепенно это – как будто бы само собой ясное – слово обрастало в научных трудах новыми смыслами. О дружине говорили уже в связи со становлением сословий, со спорами о «служилой» и «земской» знати и т. д. (см. во «Введении»).

Необходимость концептуально осмыслить это понятие назревала, и в 1909 г. вышла в свет работа А. Е. Преснякова «Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории X–XII столетий», которая представляла собой первую попытку разработать научное понятие дружины. И в этой работе лежат во многом корни тех представлений о дружине, которые распространены сегодня. К ней я ещё обращусь ниже, пока отмечу только одно обстоятельство. Пресняков отталкивался от трудов западноевропейских, главным образом, немецких медиевистов конца XIX – начала XX в., в построениях которых дружине отводилось одно из центральных мест. В ведущей и наиболее авторитетной в то время немецкой историко-юридической школе (*Verfassungsgeschichte*) дружине придавалось важное историческое значение как основополагающему социально-правовому учреждению в истории германских народов от античности до высокого средневековья.

Разумеется, Пресняков определённым образом приравнивал выводы и схемы медиевистов, разработанные на западноевропейских материалах, к древнерусской истории. Однако в формулировке главных тезисов он опирался на западную историографию, а не на русскую. Именно поэтому, с точки зрения задач данной работы, прослеживая истоки концепта дружины, очень важно чётко уяснить и обозначить, о чём изначально писали авторы тех идей, которые легли в основу работы Преснякова. Не менее важно также проследить судьбы этих идей историков конца XIX – начала XX в. в разных историографических традициях последующего времени вплоть до сегодняшнего дня⁶². На этом фоне яснее станет развитие русскоязычной историографии, посвященной соответствующим проблемам, и её современное состояние.

⁶² Сравнительно подробные обзоры литературы, посвященной «германской дружине», см.: Bazelmans 1991; Lübke 2001, с. 251 и след. Во второй работе учтена литература только до 1995 г., зато приняты во внимание суждения о дружине у славян и даже тюркских кочевников. Ср. ниже подробнее о работах Й. Базельманса и К. Любке.

«Германская» дружина

Русскому слову *дружина* в современном немецком языке соответствует слово *Gefolgschaft*, которое является сравнительно поздним порождением учёной мысли. Это слово создали историки XIX в., прибавив суффикс к известному с XVII в. слову *Gefolge* (спутники, свита, сопровождение; от глагола *folgen* – следовать). Оно быстро вошло в научный обиход, прежде всего потому, что в нём нашло соответствие латинское слово *comitatus*, которое использовал Публий Корнелий Тацит в знаменитом трактате «О происхождении германцев и местоположении Германии» (называемом также кратко «Germania»; 98 г. н. э.) – описании нравов, обычаев, верований и общественного устройства древних германских «племён» (народов). В то время как в немецкой исторической науке *Gefolgschaft* стало общепринятым специальным термином, во многих других национальных историографических традициях латинское *comitatus* не получило одного какого-либо специального соответствия и часто употребляется без перевода. В исторических работах на славянских языках *comitatus* обычно передаётся общеславянским древним словом *дружина*, и я в дальнейшем придерживаюсь этого соответствия (хотя, как будет видно из дальнейшего изложения, это соответствие должно рассматриваться как условное и требующее всякого рода пояснений и оговорок).

Уместно привести здесь же отрывок из трактата Тацита (главы 13–14), где даётся описание «германской дружины». Цитирую русский перевод А. С. Бобовича под редакцией М. Е. Сергеенко⁶³:

«13. Любые дела – и частные, и общественные – они (германцы — П, С.) рассматривают не иначе как вооружённые. Но никто не осмеливается, наперекор обычаю, носить оружие, пока не будет признан общиной созревшим для этого. Тогда тут же в народном собрании кто-нибудь из старейшин, или отец, или родичи вручают юноше щит и фремею: это – их тога, это первая доступная юности почеть; до этого в них видят частицу семьи, после этого – племени. Выдающаяся знатность и значительные заслуги предков даже ещё совсем юным доставляют достоинство вождя; все прочие собираются возле отличающихся телесного силой и уже проявивших себя на деле, и никому не зазорно состоять их дружинниками (*inter comites*). Впрочем, внутри дружины (*comitatus*), по усмотрению того, кому она подчиняется, устанавливаются различия в положении; и если дружинники (*comitum*) упорно соревнуются между собой, добиваясь преимущественного благоволения вождя, то вожди – стремясь, чтобы их дружина (*comites*) была наиболее многочисленной и самой отважной. Их величие, их могущество в том, чтобы быть всегда окружёнными большой толпой отборных юношей, в мирное время – их гордостью, на войне – опорой. Чья дружина (*comitatus*) выделяется численностью и доблестью, тому это приносит известность, и он прославляется не только у себя в племени, но и у соседних народов; его домогаются, направляя к нему посольства и осыпая дарами, и молва о нём чаще всего сама по себе предотвращает войны.

14. Но если дело дошло до схватки, постыдно вождю уступать кому-либо в доблести, постыдно дружине (*comitatui*) не уподобляться доблестью своему вождю. А выйти живым из боя, в котором пал вождь, – бесчестье и

⁶³ Тацит 1969/2001, с. 465–466.

позор на всю жизнь; защищать его, оберегать, совершать доблестные деяния, помышляя только о его славе, – первейшая их обязанность: вожди сражаются ради победы, дружинники (*comites*) – за своего вождя. Если община, в которой они родились, закосневает в длительном мире и праздности, множество знатных юношей отправляется к племенам, вовлечённым в какую-нибудь войну, и потому, что покой этому народу не по душе, и так как среди превратностей битв им легче прославиться, да и содержать большую дружину (*comitatum*) можно не иначе, как только насилием и войной; ведь от щедрости своего вождя они требуют боевого коня, той же жаждущей крови и победоносной фразеи; что же касается пропитания и хоть простого, но обильного угощения на пирах, то они у них вместо жалованья. Возможности для подобного расточительства доставляют им лишь войны и грабежи. И гораздо труднее убедить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить сразиться с врагом и претерпеть раны; больше того, по их представлениям, потом добывать то, что может быть приобретено кровью, – лень и малодушие».

Неизвестно, имел ли термин, выбранный Тацитом, какое-либо соответствие в языке (или языках) тех древних германских народов, которые ему были знакомы и о которых он писал. Само слово *comitatus* является производным от латинского же *comes* (спутник, товарищ, провожатый), которым римский историк обозначал членов «дружины». Есть некоторые предположения, склоняющие к тому, что латинское слово соответствовало определённому германскому⁶⁴. Однако, сильны аргументы и против того, что такое соответствие имело место.

Во-первых, исследования трактата Тацита, предпринятые в XX в., приводят к заключению, что описание германского общества, предложенное римским историком, имело слишком обобщённый, «моделирующий» характер. Предлагая законченную и внешне как будто непротиворечивую картину «быта и нравов» германских «племён»-народов (сразу всех вместе!), Тацит во многом упрощённо-абстрактно (а может быть, и превратно) толковал явления, которые в реальности должны были быть разнородны и разнообразны в зависимости от разных конкретно-исторических условий. Его описание – это описание *вообще*, то есть некая схема или модель, нацеленная на синтез, а не на дифференциацию, и его труд ни в коем случае нельзя воспринимать как точные зарисовки, сделанные непосредственно «с натуры». Поскольку при внимательном анализе текста между его «моделью» германской дружины в главах 13 и 14 и сведениями в других частях трактата обнаруживаются разного рода несоответствия и даже противоречия, появляются подозрения, что тацитовский «*comitatus*» – это не прямое отражение, не снимок или отпечаток действительности, а как раз продукт его обобщений и упрощений. Некоторые учёные вообще не считают возможным увидеть в картине Тацита реальные черты, указывая ещё на идеологическую нагрузку его описания, «спекулятивный» характер его рассуждений и т. д. Другие (таких пока как будто большинство) не сомневаются в достоверности многих сведений, которые приводит Тацит, но в любом случае никто не воспринимает его данные как отражение реальности, *wie es eigentlich gewesen ist*, без учёта, что они стоят в той или иной зависимости от античных традиций истории описания и восприятия «варваров», от воззрений и вкусов самого автора, а также от политической ситуации в Империи и на её границах на момент написания трактата⁶⁵.

⁶⁴ Ср. ниже о работе Д. Грина (D. Green).

⁶⁵ Ср. новейшую работу о «Germania»: Timpe 2008. Ещё в 1929 г. А. И. Неусыхин призывал очень осторожно относиться к данным Тацита, отмечая штампы в его изложении, вольное пользование источниками, морализаторство, стилизацию, схематизацию и пр.: Неусыхин 1929/2001, с. 39–44. Работы Неусыхина — это лучшее из того, что написано об обществен-

Во-вторых, из данных более позднего времени (эпохи раннего и высокого Средневековья VI–XII вв.) вытекает, что у разных германских народов по-разному обозначалось то, что в науке принято называть дружиной: ср., например, латинизированные обозначения у лангобардов *gasindii* и у франков *antrustio*, древнеанглийские *gesīð* и *dryht*, несколько слов в древних скандинавских языках (см. ниже о работе Дж. Линдоу) и т. д.⁶⁶. Разнообразие обозначений в позднейшее время заставляет предполагать, что единства в терминологии, а может быть, и в реальных явлениях, не было и во времена Тацита.

Помимо трактата Тацита, есть и другие источники, на которых основывались и основываются научные представления о дружинах древних германских народов⁶⁷. К сведениям Тацита примыкают свидетельства других античных и раннесредневековых писателей (Цезаря, Аммиана Марцеллина, Прокопия Кесарийского и др.). Отдельный комплекс источников составляют латиноязычные раннесредневековые хроники, законы и т. д. Данные этих источников разрозненны по времени и происхождению, кратки и неопределённые, в них отсутствует какая бы то ни было терминологическая последовательность (слова *comes* и *comitatus* приобрели в это время другие значения⁶⁸; известны и другие латинские и латинизированные термины – ср. ниже о работе Г. фон Ольберг). По этим причинам в интерпретации едва ли не каждого конкретного известия всегда остаётся широкое поле для мнений относительно того, что и как именно объединяло людей в той или другой группе, в которой вроде бы можно признать «дружинные» черты. Не случайно, что эти относительно более ранние данные историки часто пытаются прояснить и систематизировать с помощью сведений из более поздних, но как будто более подробных и красноречивых источников, то есть прибегают к методам ретроспекции и компаративистики. Разумеется, применение этих методов всегда в той или иной степени рискованно, а выводы, полученные с их помощью, часто вызывают большие сомнения и возражения.

Такого рода относительно поздние источники составляют англосаксонские данные (главным образом, эпическая поэзия и прежде всего «Беовульф») и скандинавские – прежде всего, исландские саги. Большое преимущество этих источников, помимо их информативности, в том, что они написаны на оригинальных языках, а не на латыни. Основная проблема в том, что по времени и месту создания они слишком далеко отстоят и друг от друга, и от тех древних германцев, о которых писал Тацит: «Беовульф» сложился как цельное произведение, видимо, в VIII–IX вв., а саги начали записывать только в начале XIII в. Среди скандинавских данных большое значение имеют также два законодательных памятника, посвященных специально регулированию отношений внутри военно-служебных объединений в подчинении правителя. Сборник законов, регулирующих организацию норвежской служилой знати («Hirðskra»), известен в редакции 1270-е гг., но в нём ясно прослеживается отпечаток континентальной рыцарской культуры и развитой вассально-ленной системы, и относительно поздние явления не просто «накладываются» на некие архаичные «дружинные» отношения, но часто смазывают и даже скрывают их. Сборник правил, которые регулировали быт вои-

ном строе древних германцев на русском языке (о дружине см.: там же, с. 223–229). Его книга 1929 г. во многом предвосхитила развитие немецкой историографии. Особенно это касается тезиса о ведущей роли нобилитета у германских народов первых веков нашей эры (см. с. 212–247, 261–275). В 1929 г. Неусыхин убедительно отстаивал этот тезис, который в конце 1930-х–1940-е гг. займёт важное место в концепции «господства знати», разработанной немецкими медиевистами и ставшей заметной вехой в историографии XX в. (см. ниже).

⁶⁶ Современный обзор лексики германских языков, которую считают возможным относить к «дружинной» сфере (как реконструируемые термины, так и зафиксированные в источниках), и соответствующих лингвистических проблем см. в специальной статье в фундаментальной энциклопедии, посвященной древним германцам, «Reallexikon der germanischen Altertumskunde»: Landolt 1998.

⁶⁷ Об источниках сведений о германских дружинах см. в той же энциклопедии: Timpe 1998.

⁶⁸ См. статью «Comitatus» в энциклопедии «Lexikon des Mittelalters»: Borjolt 1986/2002 (а также здесь же статью «Comes»).

нов на службе датских королей (памятник, в историографии фигурирующий обычно под датским названием «Vederlov»), приблизительно на сто лет старше, но его интерпретация также наталкивается на разные исторические и источниковедческие трудности.

Уже в XIX в. немецкие историки, которые опирались, главным образом, на трактат Тацита, признали дружину в качестве одного из элементов общественного строя древних германцев, хотя и отводили ей второстепенное, подчинённое положение. Не без влияния романтически-либеральных идей своего времени они представляли этот строй как «германскую свободу», то есть демократический по существу, а главную роль в своих построениях отводили «народу» – свободным гражданам, организованным в общины, а в военное время составлявшим «народное ополчение». Большое, едва ли не определяющее, значение придавалось «народному характеру», важнейшей чертой которого виделась «германская верность» (*germanische Treue*). Такого рода идей придерживался, например, Георг Вайтц, одним из первых давший систематическое описание германской дружины. Его определение основных характеристик дружины (добровольное объединение под началом вождя, взаимная верность, вступление с принесением клятвы и т. д.) сохраняет значение и сегодня, хотя общая её оценка как вспомогательной военной силы, которая предоставлялась выборным князьям (такowymi он считал тех, кого римляне обозначали как *príncipes*), так сказать, по должности («*Amtsgefolge*»), сейчас имеет лишь историографическое значение⁶⁹.

В традиционном для рубежа XIX–XX вв. духе были выдержаны воззрения Генриха Бруннера. Ему дружина представлялась институтом, имевшим, в общем, только военное значение и отчасти административное. В высокопарных выражениях, характерных для историков эпохи подъёма немецкого национализма, он характеризовал дружину германцев как «школу воспитания военной доблести и навыков государственного управления» и как систему «отношений службы и верности, характерных для германцев (*ein den Germanen charakteristisches Dienst- und Treuverhältnis*)», которая оставила в песне и саге по сравнению с другими установлениями их общественной жизни самые яркие и прочные следы⁷⁰. Реконструируя дружину как «юридический институт (*Rechtsinstitution*)», характерный для всех германцев на этапе племенного строя, Бруннер широко использовал англосаксонские и скандинавские материалы, пытаясь выделить общее и дополняя пробелы в источниках, происходящих из одного региона одной эпохи, за счёт данных, почерпнутых из источников, созданных в другом месте в другое время. Так, например, если историк не находил у Тацита прямого указания на клятву, которую молодой человек должен был приносить вождю при вступлении в дружину, он обращался к норвежской «*Hirðskra*», находил там упоминание о такого рода клятве и делал вывод не только о том, что присяга была необходимым элементом института германской дружины, но и что вассальные обряды (оммаж и пр.) восходят к этой дружинной присяге⁷¹. Такого рода реконструкции, основанные на довольно прямолинейно применённом компаративном методе, типичны не только для Бруннера, но и для других немецких историков юридической школы, которые пытались найти одну общую для всех германцев модель эволюции общественного строя от племени к национальному государству.

Среди суждений по поводу германской дружины, высказанных или поддержанных Бруннером, два, связанные между собой, имели особое значение в немецкой историографии. С одной стороны, историк утверждал, что дружинные отношения древних германцев стали одним из «зародышей вассально-ленных». С другой стороны, тем основополагающим принципом, который и обеспечил эту преемственность, и, главное, цементировал сам дружинный строй, были особые отношения верности, характерные для германцев. Идея «гер-

⁶⁹ Waitz 1844/1953, с. 46–47, 371–401.

⁷⁰ Brunner 1892/1906, с. 185–186.

⁷¹ Там же, с. 180–195, особ. 190.

манской верности», наряду с идеями о «германской свободе» и тому подобными, способствовала формированию представлений о неких базовых германских началах общественной организации, определивших историю немецкого народа, и стала частью «великого мифа» о национальном характере немцев. Она была разработана в целую теорию в 30-е годы XX в. и активно использовалась идеологами национал-социализма. По словам современных историков, уже отстранённо оценивающих развитие немецкой историографии в период до Второй мировой войны, верность понималась «(мета)психологически» как специфически германская добродетель и как «всеобщий принцип немецкого права»⁷². Эта идея повлияла на многих историков, в том числе и не связанных с политикой и идеологией Третьего рейха и работавших и после его падения.

Акцент на принципе верности привёл к выдвижению дружины в число структурообразующих элементов в эволюции общественного строя германцев и к расширению самого понятия дружины. Так, один из видных представителей немецкой исторической науки середины XX в. Генрих Миттайс, подчёркивая особый характер средневековой государственности (основанной на личных отношениях, а не формально-юридических), связал его именно с дружинными отношениями верности. Не только вассалитет связывался напрямую с германской дружиной⁷³, но и признание населением власти короля интерпретировалось как дружинная верность, и предлагалось выделить особый тип государства – «дружинное государство» (*Gefolgschaftsstaat*)⁷⁴.

Эту идею пытался развить Й. О. Пласман, который, опираясь на «Деяния саксов» Видукинда Корвейского и «Хронику» Титмара Мерзебургского, доказывал, что королевство Оттонов X в., не воспринявшее каролингское наследство, было «дружинным государством»⁷⁵.

Другой известный немецкий медиевист Вальтер Шлезингер, работавший уже в основном в послевоенное время, также уделял дружине особое место в эволюции форм господства (*Herrschaft*), рассматривая её как специфически германское явление. В статье, опубликованной впервые в 1953 г., он предложил институционально-юридическую разработку понятия германской дружины, которая хотя и вызвала критику и оживлённые дискуссии, закрепила его «классический» вариант. В трактовке Шлезингера понятие дружины было тесно увязано с концепцией «господства знати» (*Adelsherrschaft*), к разработке которой больше других приложил усилия Генрих Данненбауэр и которую так или иначе поддерживали Отто Бруннер, Теодор Майер, Герд Телленбах и другие медиевисты середины XX в. (которых иногда объединяют под названием «*Neue Deutsche Verfassungsgeschichte*»)⁷⁶. Суть этой концепции сводилась к идее, что социально-политическое и экономическое господство знати в средневековых германских политических образованиях было не новым явлением относительно мифической «германской свободы», а продолжением господствующего положения знати и в германских племенах эпохи Цезаря и Тацита («германский континуитет»).

Шлезингер признал дружину следующей после семьи-дома (*Haus*) формой осуществления одним человеком господства над другими людьми, которые при этом не теряли личной свободы. Традиционно используя данные Тацита в сопоставлении с англосаксонскими и отчасти скандинавскими материалами, он пытался показать, что первоначальными в дружине были «добровольность подчинения» и черты «домашнего товарищества

⁷² Pohl 2000, с. 70; Kroeschell 1969/1995, с. 158; Kroeschell 1994/1995, с. 183 и след.

⁷³ «Die Treue ist der entscheidende Beitrag des germanischen Rechtes zum Aufbau des Lehnswesens» (Mitteis 1940/1953, с. 67).

⁷⁴ Там же, с. 10, 45 и след.

⁷⁵ Pläbmann 1954, passim.

⁷⁶ Термин *Adelsherrschaft* фигурировал в работах немецких историков ещё с 1920-х гг., но соответствующая концепция была впервые последовательно изложена в работе: Dannenbauer 1941. Оценку и немецкой *Verfassungsgeschichte* XIX в., и «*Neue Deutsche Verfassungsgeschichte*» из современной перспективы см.: Schneidmüller 2005.

(Hausgenossenschaft)», и давал своё определение дружины: «отношения между господином и человеком, в которые вступают добровольно, которые основаны на верности и которые обязывают этого человека к совету и (военной) помощи, а господина – к защите и "милости"»⁷⁷.

Дружинные отношения, принимая разные формы, носили всеобщий характер— от объединения «крестьян» во главе с кем-либо из их среды в качестве вождя (großbäuerliches Gefolgschaftswesen) до всего «племени»⁷⁸. Но для знатного человека обладание дружиной было одним из «отличительных моментов» его «статуса господина (Herrenstand)» (наряду с происхождением, достатком и т. д.). В эпоху Великого переселения народов дружина переживает своеобразный расцвет и способствует становлению власти «военных князей» (*Heerkönige*). «Военные князья», будучи первоначально предводителями объединений дружинного характера, становятся общепризнанными правителями, когда эти объединения, пережив под их начальством войну и переселение, оседают на какой-то территории. С принятием христианства власть правителя получает новое, религиозное, обоснование— как богоустановленная «по должности». Однако, «дружинные представления» не теряют своей силы. И Шлезингер пытается выявить и в каролингском законодательстве идею о короле как «дружинном вожде (Gefolgsherr)» всех свободных подданных, которые выступают в качестве его дружины (здесь Шлезингер присоединяется к Миттайсу и Пласману)⁷⁹.

Вассалитет сам по себе, согласно Шлезингеру, не мог быть опорой королевской власти, и его появление объясняется лишь как трансформация в новых условиях германской дружинной верности, «поглощавшей» галло-романские элементы. Наконец, и развитие частного землевладения в раннее средневековье выводится немецким историком из власти знатного господина над домашними и дружиной: «и зависимые крестьяне должны были считаться скорее дружинниками их господина». За этим заявлением следует общий вывод: «власть знати (die Herrengewalt des Adels) над землёй и людьми... выросла из власти в доме и в дружине», а альтернативные объяснения происхождения этой власти (право частной собственности, узурпация королевских прерогатив и др.) отвергаются⁸⁰.

В этой концепции институт германской дружины становится ключом, открывающим двери к разгадке происхождения не только вассально-ленной системы, но и едва ли не всех отношений господства – подчинения, известных в Средние века. И это говорит о том, что хотя Шлезингер существенно расходился с немецкими учёными XIX – начала XX в. в том, какое значение придавал этому институту, но его общий подход в сущности лежал в русле традиционной немецкой *Verfassungsgeschichte*. Однако, во второй половине XX в. такой подход уже не мог не вызвать критики.

В 1956 г. с возражениями Шлезингеру в статье с характерным названием «Границы германской дружины» выступил лингвист и филолог-скандинавист Ганс Кун, который поставил своей задачей «проследить терминологию дружинного строя и прояснить её происхождение, применение и отношение к лексике родственных сфер». Кун упрекнул Шлезингера в слишком широком определении дружины, так как оно подразумевало, с одной стороны, вообще практически любое объединение воинов под начальством одного вождя, а с другой – и разного рода работников (свободных и несвободных), которые выполняли невоенные функции. К тому же, по мнению Куна, Шлезингер на деле не соблюдал «границы» своего и без того широкого определения, и в итоге понятие теряло содержание и «расплывалось». Вот определение дружины, данное Куном: «союз свободных мужчин на постоянной, но, как

⁷⁷ «Ein Verhältnis zwischen Herrn und Mann, das freiwillig eingegangen wird, auf Treue gegründet ist und den Mann zu Rat und (kriegerischer) Hilfe, den Herrn zu Schutz und "Milde" verpflichtet»: Schlesinger 1953/1963, с. 18–19.

⁷⁸ «Im Grunde war der ganze Stamm oder, wenn man lieber will, das ganze Volk gefolgschaftlich gegliedert» (там же, с. 22).

⁷⁹ Там же, с. 22, 28–35.

⁸⁰ Schlesinger 1953/1963, с. 38–39, 48.

правило, не пожизненной, службе какому-либо более могущественному человеку, которые принадлежат его дому, функция которых состоит только в военной службе и репрезентации и которые находятся в почётном положении и в отношениях взаимной верности с их предводителем»⁸¹. Принципиальным новшеством в рассуждениях лингвиста был отказ от идеи специфической германской верности.

С лингвистической точки зрения Куну удалось показать большое разнообразие и крайнюю неоднородность в обозначениях служебно-договорных отношений и разного рода военных объединений у континентальных германцев в разное время, англов и саксов в Британии в VI–X вв., датчан и норвежцев в X–XIII вв. Но ни одно из этих обозначений не может, по выражению Куна, возводиться «к седой древности», то есть ко времени раньше первых заимствований в германские языки из кельтских⁸². Это обстоятельство Кун использует в ряду аргументов в пользу тезиса, что институт дружины был ненамного старше свидетельств Тацита и возник под влиянием кельтов.

Рассуждая как историк, Кун приходил к заключению, что дружина (в его определении) существовала среди германцев до эпохи Великого переселения только у тех племён, с которыми больше других сталкивались римляне (то есть южных), а затем только у викингов в IX – первой половине XI в. Причём никакой преемственности между первой и второй формами дружины не было – они возникли независимо друг от друга в силу похожей констелляции нескольких факторов (обогащение за счёт грабежа более развитых и культурных земледельческих обществ, наличие ярко выраженного слоя знатных воинов и др.). Вообще же, по мнению Куна, для архаического общества значительно важнее дружины была служба разных несвободных зависимых людей (*unfreie Dienstmannschaft*). Службу такого рода он выявляет в разных формах как у германцев, так и кельтов, подчёркивает связь с ней вассалитета (отрицая, соответственно, преемственность вассалитета с германской дружиной) и настаивает на её всеобщем характере⁸³.

С другой аргументацией против Шлезингера выступил чешский медиевист Франтишек Граус⁸⁴. Его возражения пересеклись с доводами Куна в одном: как и немецкий лингвист, чешский историк отказывался видеть в дружине древних германцев специфически германское явление. Но, в отличие от Куна, ссылавшегося на кельтов, Граус опирался на данные о дружинах некоторых славянских народов. Дружина у славян не только типологически представляла собой аналог германской, но и сыграла, по мнению Грауса, такую же генерирующую роль в становлении новых форм власти и господства и в этнических процессах. Ничего «типично» германского он не видел и в идее верности. Он считал, что в древности она «в примитивном виде» была как у германцев, так и у славян, а полнокровное развитие получила только с христианизацией. Именно христианство, связывая *верность* с *верой*, наполняет эту идею высоким морально-религиозным содержанием, а верность правителю получает новое содержание благодаря теории богоустановленности власти, и понятие *fides* развитого феодального общества уже не имеет ничего общего ни с германской, ни с какой бы то ни было другой дружинной верностью⁸⁵.

Шлезингер ответил на критику Куна и Грауса, защищая как теорию об особой германской верности, отличной от похожих этических представлений у других народов, так и свою концепцию об особой институциональной роли дружины. По его словам, для него

⁸¹ Kuhn 1956, с. 12.

⁸² Там же, с. 77.

⁸³ Там же, с. 78–83.

⁸⁴ Граус, еврей, родился и жил в Чехии до 1969 г., а после «пражской весны» эмигрировал сначала в Германию, потом в Швейцарию. Писал он одинаково свободно на немецком и чешском языках.

⁸⁵ Graus 1959, особ. с. 104. Взгляды Грауса о верности и дружине см. также в работах: Graus 1963, Graus 1966. Ср. также ниже его суждения о славянских дружинах.

было важно определить «основные понятия "идеологии" дружины», каковыми были, по его мнению, «добровольность и верность»⁸⁶. Таким образом, Шлезингер в конечном счёте признал, что можно вести речь о разных формах дружины, хотя указывая на некие её базовые принципы, и это делало его понимание дружины предельно широким.

Признание возможности по-разному понимать дружину – в более узком и более широком смыслах – позволило некоторым историкам примирить позиции Шлезингера и его критиков. Наиболее последовательно различие узкого и широкого понятий дружины провёл Райнхард Венкус, автор фундаментального исследования «Формирование племён и общественный строй: становление раннесредневековых *gentes*» («*Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes*», 1961), одна глава которого посвящена германской дружине. По мнению Венкуса, то, что имел в виду Кун, когда говорил о дружине в собственном смысле слова, подпадает под понятие *Hausgefolgschaft* – «домашняя дружина», то есть небольшая дружина «тацитовского» типа. Однако, историк указывал на то, что сам термин *Gefolgschaft* – современный, в немецком языке сконструированный искусственно, и поэтому считал возможным употреблять его как «собирательное понятие» (*Sammelbegriff* или *Oberbegriff*). Под это собирательное понятие он подводил и другие формы, родственные тацитовой дружине – например, «крестьянскую дружину (*bäuerliches Gesinde*)», военное объединение (ополчение) широкого состава (*Heerhaufen*), а также, при определённых оговорках, и выросшее из такого объединения новое «племенное» образование раннегосударственного характера. Более того, признавая заслугу Куна в указании на зависимых слуг в кельтских и германских обществах, Венкус полагал, что тот, разделяя те или иные термины как относящиеся к сферам несвободной службы или дружины, неправомерно разделяет тем самым реальные явления: в реальности, как термины могли в разных условиях наполняться разным содержанием, так и отношения зависимости и службы могли переплетаться с дружинными, основанными на добровольности и взаимности. Понятие служебной зависимости не может служить критерием различия, «важнее критерий взаимного обязательства, который выражается в признании общности: общности в борьбе и общности за столом»⁸⁷.

В вопросе о происхождении германской дружины Венкус согласился с Куном в отрицании особой «германской верности». Признавая, что «дружина в общем смысле является одним из тех базовых социальных типов, которые при известных условиях могут возникать независимо друг от друга в разных местах», Венкус допускает, что у кельтов и германцев независимо друг от друга существовали определённые дружинные «ранние формы» приблизительно до рубежа новой эры⁸⁸. Среди тех «ранних форм» дружины, которые Венкус предполагает у германцев, он особенно подчёркивает службу чужаков могущественным вождям (правителям) других племён и народностей. Он фиксирует разные варианты такой службы, в том числе привлекая данные о славянских народах раннего и высокого Средневековья, и считает её важным инструментом усиления власти вождя (правителя)⁸⁹.

Окончательное образование дружины у германцев Венкус связывал с явлением, названным им «галльско-западногерманской "революцией"», то есть появлением в I в. до н. э. – I в. н. э. вождей нового типа – «военных князей» (*Heerkönige*), распадом старых племенных общностей и началом масштабных людских перемещений, которые в конце концов вылились в Великое переселение народов и образование новых германских народностей. И именно дружинам он придавал решающее значение в укреплении власти *Heerkönige*. Правда, в описании этой «революции» и других социально-политических и этнических

⁸⁶ Schlesinger 1963a, с. 300, 313–315.

⁸⁷ Wenskus 1961, с. 348, 353–354.

⁸⁸ Wenskus 1961, с. 355–356, 360.

⁸⁹ Там же, с. 365–373.

процессов в первой половине I тысячелетия н. э., Венкус уже реже употреблял термин *Gefolgschaft* и писал более неопределённо об «объединениях с этосом, происходящим из сферы дружинных отношений (*Verbände, die mit dem aus dem Bereich des Gefolgschaftswesens stammenden Ethos erfüllt waren*)»⁹⁰. Историк, таким образом, фактически признал, что не было некоего одного «института германской дружины», а были разные явления, которые можно только более или менее условно собрать под зонтиком одного «*Sammelbegriff*». В ходе социально-политических и этнических пертурбаций, пережитых германскими народами в эпоху поздней античности, эти «объединения» сыграли решающую роль в становлении новых форм власти и господства. «В какой бы значительной степени отношение между господином (*Heim*) и знатными дружинниками ни было основано на добровольности и взаимных обязательствах, действие его вовне несло власть (*nach außen wirkte es machtvoll*)», – писал историк и тут же добавлял: «эта властная составляющая, разумеется, была сильнее выражена там, где в дружинах преобладали слуги и воины-чужаки (*Dienstmannen-und Reckentum*)»⁹¹.

Таким образом, Венкус пытался сочетать идеи Шлезингера с доводами его критиков, особенно Куна. Однако, безусловно простившись с наследством национальной романтики, в главном Венкус был всё-таки скорее на стороне Шлезингера: понимание дружины как «собирательного понятия» давало возможность сохранить за ней ключевую роль в становлении власти и господства у германцев и сохраняло её важным элементом теории «господства знати» (*Adelsherrschaft*). Работа Венкуса существенно способствовала тому, что эта теория сохранила значение до сегодняшнего дня как некая, пусть и условная, основа, от которой можно отталкиваться. Именно в таком плане высказывается Вальтер Поль: «В целом, развитое в 40-е годы институциональное учение (*verfassungsgeschichtliche Lehre*) всё ещё, хотя и с оговорками, признаётся. Разумеется, после десятилетий фундированной критики теория господства знати (*Adelsherrschaft*) у древних германцев – господства, которое было основано на наследственной харизме, крепилось дружиной и обеспечивало защиту и покровительство в обмен на верность, – едва ли сохраняет силу как модель. Но ведь совершенно отсутствует альтернативная теория. Правда, относительно эпохи динамического общественного развития любая попытка поиска "сути" германского "строения" (*Verfassung*)», – поиска, который бы дал возможность восстановить то, о чём молчат источники, – с самого начала обречена на провал»⁹².

Под «фундированной критикой» Поль имел в виду не только работы Куна и Грауса, но и исследования ещё целого ряда учёных, посвященные самым разным вопросам истории германцев. Из них в данном случае будут отмечены только несколько, в которых прямо затрагивается проблема дружины. Для них характерны две связанные между собой тенденции: во-первых, углублённое изучение значения аутентичных слов и понятий древнего происхождения и верификация в свете этого анализа современных научных терминов и представлений, и во-вторых, стремление рассмотреть сведения одного источника в контексте той культурно-исторической ситуации, в какой он был создан, отрешившись от тех «подсказок» и «параллелей», которые как будто бы могут дать источники другого рода и происхождения. Нетрудно заметить, что эти тенденции лежат в русле тех направлений современной науки, которые называют «историей понятий» или «лингвистический поворот» (*linguistic turn*)⁹³, и спровоцированы проблематичными обобщениями, в том числе компаративными, историков

⁹⁰ Там же, с. 427.

⁹¹ Там же, с. 374.

⁹² Pohl 2000, с. 72.

⁹³ По истории исторических понятий см. фундаментальную энциклопедию: *Geschichtliche Grundbegriffe*. Любопытно, кстати, что в этой энциклопедии отсутствуют статьи как «*Gefolgschaft*», так и «*Freue*». О «лингвистическом повороте» см., например, на русском языке: Копосов 2001, с. 284–294.

юридически-институциональной школы в поисках той самой «сути германского строя», о которой писал Поль.

Не случайно, что в новой историографической ситуации особую ценность приобрело слово лингвистов и филологов и появилась серия терминологических исследований. Так, Клаус фон Зее на древнескандинавской лексике, относящейся к сфере права, попытался проверить идею о германской верности как своего рода моральном императиве. В частности, он рассматривает пару слов, обозначающих разные аспекты понятия мира, установленного по договору, – *gríð* (*перемирие*, безопасное пребывание или доступ и т. п.)⁹⁴ и *tryggð* (*доверие* по некоему твёрдому договору, стабильный мир). Второе из них родственно древнескандинавским словам *trú* (*доверять*) и *traust* (*доверие*), современному немецкому *Treue* (*верность*) и принадлежит группе слов, восходящих к древнегерманскому корню **treu-*. Таким образом, оно могло бы выражать искомое немецкими историками понятие верности, в том числе дружинной. Однако фон Зее делает акцент на строго юридическом значении этого слова ("доверие согласно неким условиям или договорённостям") и указывает, что «общего понятия "верности" с этическим содержанием (*Tugendbegriff*) из него не развилось». Только в источниках второй половины XIII в. (прежде всего, в норвежских «Королевском зеркале» и «Hirðskra») появляется достаточно разработанная терминология верности, в основном лексемы, производные от глагола *trú*, но это обстоятельство фон Зее связывает с «церковным и государственно-теоретическим идейным достоянием высокого Средневековья», пришедшим в Скандинавию с континента⁹⁵.

Таким образом, фон Зее однозначно поддержал Куна и других критиков теории «германского континуитета», выражавшегося, в частности, в преемственности всеобщей идеи верности. Более осторожную позицию в этом споре занял английский исследователь Дэннис Ховард Грин, попытавшийся реконструировать древнейшее семантическое «поле» нескольких общегерманских слов, употреблявшихся в значении *властитель, господин*. Возражая Куну, он усматривал в древних социально-правовых германских понятиях и терминах отражение представлений о некоей верности и взаимных обязательствах (хотя, разумеется, при этом ни о каком «*Tugendbegriff*» речи у него не шло). Возводя древневерхненемецкие слова *truht* (*группа, банда*) и *truhtín* («*господин, вождь*»), происходящие от того же корня **treu-*, к древнегерманскому **druhtiz*, он это последнее считал соответствием латинскому *comitatus*⁹⁶.

Общий вывод Грина о значении термина **druhtiz* поддержал американский лингвист Джон Линдоу, сосредоточившийся преимущественно на древнескандинавской лексике. Он считал возможным возводить к этому слову скандинавское слово *drótt*, известное по древней скальдической поэзии, и отвергал распространённое мнение о возможном соответствии германского **gasínpía* («*спутники, сопровождение*») латинскому *comitatus*⁹⁷. В то же время им было хорошо показано разнообразие скандинавской лексики для обозначений воина, военного объединения и чести воина, только частично восходящей непосредственно к неким общегерманским корням с похожей семантикой. В частности, весьма характерным представляется то обстоятельство, что в Скандинавии X–XII вв. для обозначения военных объединений дружинного характера не было одного слова — кроме *drótt*, употреблялись ещё слова *lið*, *verðung* и *hirð*. Причём последнее из этих слов, к XIII в. ставшее более или менее общепри-

⁹⁴ Об этом слове, с которым связано древнерусское *гридь*, см. в главе III (с. 339–340).

⁹⁵ von See 1964, с. 214, 220–221.

⁹⁶ Green D, 1965, с. 59–401. Некоторые наблюдения и выводы, изложенные в этой книге, Грин в дополненном и скорректированном виде развил в книге: Green D, 1998, особ. с. 106–116.

⁹⁷ Lindow 1976, с. 10–41.

нятым обозначением королевской дружины, является заимствованием из древнеанглийского (от *hīred* – "домашнее хозяйство, члены семьи, дома")⁹⁸.

Терминологические разыскания лингвистов были поддержаны историками. Карл Крёшелл, сопоставляя термины, относящиеся к домашней сфере и характеризующие носителей власти и господства, в законодательных памятниках раннего средневековья, опровергал исходный тезис Шлезингера о происхождении отношений господства из власти хозяина дома⁹⁹. Анализируя понятия *fides ufidelitas* у античных писателей и в раннесредневековых источниках, Крёшелл приходит к выводу, что ни в одном случае в них нельзя найти отражение этического принципа взаимной верности. Первое из них, когда употреблялось в сфере человеческих отношений, обозначало либо обязательства патрона по отношению к его клиентеле (античное понимание), либо верность человека господину, но уже выстраиваемую «по образцу христианского доверия по вере (*Vorbild vertrauender christlicher Gläubigkeit*)». Второе обозначало взаимное обязательство, но не этического, а «строго формального характера» (то есть по договору)¹⁰⁰.

В обширном труде Габриеле фон Ольберг наглядно представлено разнообразие слов и терминов, которые употреблялись в «варварских правдах» германцев для обозначения социальных слоев и групп. В частности, обсуждаются слова из «дружинной» сферы — *gasindius*, *antrustio* и др.¹⁰¹ Скандинавские понятия из семантического поля "верность, преданность, лояльность" проанализированы по сагам и правовым кодексам XIII–XIV вв. в недавней работе Ганса Якоба Орнинга в контексте исследования отношений верности между правителем и разными слоями населения в Норвегии в конце XII–XIII в.¹⁰²

На 80-е – начало 90-х годов XX в. пришла волна интереса к тацитовскому описанию древних германцев. Вышли два новых издания «*Germania*», подготовленные учёными ФГГ и ГДГ, с новыми переводами на немецкий язык и комментариями¹⁰³. Появились и новые исследования.

Работа датской исследовательницы Анне Кристенсен представляет собой попытку рассмотреть данные Тацита о германской дружине, так сказать, сами по себе, без сопоставления с другими источниками. В интерпретации этих данных Кристенсен в качестве исходного принимает тезис о тождественности «*comites*», из которых, по утверждению Тацита в главах 13 и 14 «*Germania*», состоял германский «*comitatus*», с теми «*comites*», которых римский историк упоминает в главе 12 как членов сотен, окружающих «*principes*» при исправлении последними суда на местах (в «*pagus*»). Такое отождествление даёт ей возможность далее утверждать, что и в главе 6, посвящённой военной тактике германцев, Тацит имел в виду дружину, когда писал, что войско германцев состояло из всадников и пехотинцев, набранных по сотням. В конце концов она приходит к выводу, что дружина фактически совпадала с сотнями, которые составлялись из молодёжи племени, а её состав и начальство того или иного *princeps* над нею утверждались на тинге всем племенем¹⁰⁴. Принципиальным новшеством в оценке дружины Кристенсен по сравнению с Вайтцем (ср. выше) и другими её предшественниками, также сопоставлявшими дружину с сотнями и видевшими в ней публично-правовой институт, было отнесение дружины к категории так называемых «мужских союзов».

⁹⁸ Там же, с. 42–70.

⁹⁹ Kroeschell 1968/1995.

¹⁰⁰ Kroeschell, 1969/1995, особ. с. 178.

¹⁰¹ von Olberg 1991.

¹⁰² Orning 2008, особ. с. 51–56, 118–123.

¹⁰³ Издание Герхарда Перля вышло в ГДР: Tacitus 1990. Издание Аллана Лунда – в ФРГ: Tacitus 1988.

¹⁰⁴ Kristensen 1983, с. 23–70, особ. 53–57.

Понятие «мужские союзы» (*Männerbünde*) ввёл в науку ещё в конце XIX в. немецкий этнолог Генрих Шурц, который изучал половозрастные разделения у некоторых африканских и меланезийских племён¹⁰⁵. Это понятие прочно вошло в научный обиход этнологов, которые понимают под «мужскими союзами» «территориальное объединение молодёжи мужского пола со своими отдельным культом и социальными функциями», причём принятие в это объединение (нередко военизированное) и исключение из него осуществляются посредством специальных обрядов инициации¹⁰⁶. Лили Вайзер и Отто Хёфлер применили это понятие к древнегерманским материалам, выдвинув тезис, что германские дружины (если не все, то многие) по происхождению были именно такими «мужскими союзами»¹⁰⁷. В современной науке далеко не однозначно решается вопрос, подпадают ли в действительности под это понятие древнегерманские явления (ср. ниже). В любом случае, попытка Кристенсен представить «тацитовскую» дружину «мужским союзом» не может быть признана удачной. Датская исследовательница исходила из публично-правового характера той дружины, которую она реконструировала по данным Тацита, и делала акцент на том, что между вождём (*princeps*) и молодым человеком, вступавшим в дружину (*comes*), устанавливались отношения «патронажа» или «шефства» (*Initiationspatenschaft*), характерные для «мужских союзов». Однако, ей приходилось оговариваться, что по описанию Тацита дружина германцев не обнаруживает черт ни культового объединения, ни возрастного класса¹⁰⁸.

Выводы Кристенсен вызвали у немецких историков и филологов критические замечания, итог которым был подведён Венкусом в статье в объёмном сборнике работ, посвященных «Германии» Тацита. Венкус, в частности, указал на те противоречия, которые обнаруживаются в свидетельствах Тацита, если принимается отождествление «*comites*» и «*centeni*», а также вообще признал неправомерным изначальное стремление Кристенсен рассматривать эти свидетельства изолированно от других источников¹⁰⁹.

С другой стороны, в этой работе Венкус решительно высказался против скептического подхода некоторых учёных, которые, пытаясь преодолеть пороки традиционной немецкой институционально-юридической школы, обратились к постмодернистской теории. По их мнению, «цивилизационная пропасть» между германцами и Тацитом была настолько большой, а цели и способ изложения материала римским историком настолько специфическими, что у нас нет возможности объективного познания той реальности, которую наблюдал и описывал римский историк. Так, например, Дитер Тимпе писал в статье 1988 г., что дискурс «Германии» строится не посредством «связи содержательных блоков, а через ассоциативную связь значений», и что вместе с традиционными топосами и схематикой античной этнографической литературы в этом произведении преобладает «спекулятивное». В результате он расценивал тацитовское описание дружины как «непропорциональное» и «перегруженное смыслом» по сравнению с реальностью, которую трудно, если вообще возможно, распознать за этим «конструктом»¹¹⁰.

Возражения Венкуса сводились к тому, что именно понимание специфики работы римского историка и его связи с античной этно- и историографической традицией даёт возможность отсеять «зёрна от плевел», то есть отделить те достоверные данные, которыми он, вне сомнения, располагал, от абстракций и стереотипов.

¹⁰⁵ Schurtz 1902.

¹⁰⁶ Hasenfratz 1982, с. 149. Ср. также в принципе аналогичные, но несколько более обтекаемые формулировки Ю. И. Семёнова: Семёнов 1986, с. 192.

¹⁰⁷ Weiser 1927; Höfler 1934. Хёфлер был членом НСДАП, и идея о «мужских союзах» древних германцев была использована нацистами как идеологическое обоснование «арийской модели» военизированной общественной организации.

¹⁰⁸ Kristensen 1983, с. 61–70.

¹⁰⁹ Wenskus 1992, с. 323–325.

¹¹⁰ Timpe 1988/1995, с. 162–167. Ср. более новую работу Тимпе: Timpe 2008.

Одним из главных аргументов, которые развивал Венкус в полемике с Тимпе и с другими исследователями, было также указание на специфику общественных отношений архаического общества, которые складывались не как юридические или политические институты, связанные в некую рациональную систему, а на основе личных связей, обычного права и традиционных представлений, обеспечивавших «социальное принуждение (*sozialer Zwang*)». Не случайно и поиск такого «института», как дружина, потерпел в конце концов крах. Реальное явление, которое Тацит обозначил словом *comitatus*, было, по мнению Венкуса, разнообразным и текучим в своих формах. Попытки понять его сущность в рамках абстрактных теорий вроде противопоставления начал «господства» и «товарищества» (*Herrschaft vs. Genossenschaft*) или в поиске одного точного «узкого» определения для него историк считает обречёнными на неудачу. Более перспективным, с точки зрения Венкуса, является использование наблюдений этнологов, которые обнаруживают «объединения, организованные по дружинному принципу», прежде всего у народов, вступивших в контакт с более развитыми культурами (*Randvölker von Hochkulturen*), и расценивают эти объединения «в качестве предпосылки процессов "государствообразования"»¹¹¹. Отталкиваясь от разработок антропологов, Венкус предлагает в оценке общественного строя древних германских (и не только германских) народов исходить из «модели (*Denkmodell*)», названной им *Vorrangordnung* – строй, основанный на «преимуществе»¹¹². В основе этого строя лежит принцип *primus inter pares*, противоречивый с точки зрения новоевропейских юридических представлений, но действенный в условиях архаического общества, поскольку позволял сочетать выдающиеся способности (харизму) отдельной личности и эгалитарно направленное «социальное принуждение». Дружину Венкус считает как раз примером выражения этого принципа.

Развивая свой давний тезис, что кельтские или германские дружины могли включать и служебно-клиентельные отношения разного рода, Венкус предлагает понимать дружину как историческое явление очень широко, ориентируясь в сущности на один главный определяющий признак: «такого рода отношение к одному человеку, возможно, но не обязательно родственнику, которое имеет эмоциональный характер и которое с течением времени приобретает институциональные черты (*die emotional gestützte Beziehung zu einer Person, die nicht notwendig ein Verwandter ist, wobei im Laufe der Zeit diese Beziehung institutionell geprägt wird*)». Впрочем, тут же историк оговаривается, что этого признака, который он сам относит к сфере «менталитета», недостаточно для характеристики дружины как «идеального типа». Для создания нового «идеального типа» дружины, по его мнению, требуется объединение усилий специалистов разного профиля, что остаётся пока в области *desiderata*¹¹³.

Эта статья Венкуса стала практически последним словом в немецкой традиции концептуального изучения «германской дружины». В этой статье хорошо видны новые вопросы и проблемы, которые обозначились перед медиевистами во второй половине XX в. Отталкиваясь от проблемы дружины, Венкус поднимает вопросы более широкие и далёкие от традиционной политико-юридической проблематики – как, оставив в стороне «институты» и юридические схемы, распознать ментальные «матрицы» и общественно-правовые нормы, которые регулировали поведение человека и под воздействием которых складывались каналы и формы коммуникации и выстраивались иерархические связи¹¹⁴. В общем, в

¹¹¹ Wenskus 1992, с. 327.

¹¹² Эта идея была развита Венкусом ещё в вышеупомянутой книге и, насколько я могу судить, вне связи с теорией американских «нео-эволюционистов» (прежде всего, антрополога Мортон Фрида) о «ранжированном обществе (*rank-society*)». В этой статье Венкус упоминает теорию Фрида, однако замечает о ней, что «историк во многом выражался бы по-другому и в отношении самого понятия, и частных» (там же, с. 312).

¹¹³ Там же, с. 330.

¹¹⁴ На возможность применения этно-антропологических подходов к средневековой истории Венкус указывал и в более ранней работе: Wenskus 1974.

таком направлении развивается творчество Герда Альтхоффа, который начинал с критики подходов *Verfassungsgeschichte* и в 1990-е гг. развил (ныне очень влиятельную) теорию «символической коммуникации», ритуалов и правил «политической игры» в Средние века¹¹⁵.

Современные авторы очень осторожно подходят к данным Тацита и даже отказываются в интерпретации его трактата от самого понятия *Gefolgschaft*, поскольку оно подразумевает слишком «высокую степень институционализации»¹¹⁶. Сегодня исходят из множественности и текучести форм военно-служебных или военно-товарищеских объединений не только у германских, но и других народов древности и у тех «первобытных» народов, которые были описаны этнологами XIX–XX вв.; предпочитают говорить об элите, военном классе и военных объединениях (*Kriegertum*, *Kriegergruppen*, *Kriegerbanden*), иногда допускается, что эта элита была организована на дружинных началах (*gefolgschaftsartige* или *gefolgschaftlich organisierte*), но само слово *gefolgschaftlich* ("дружинный") берётся в кавычки¹¹⁷. Автор подробной статьи о дружине в новейшей энциклопедии, вынужденный самим жанром дать определение предмету, прибегает к «узкому пониманию» дружины в духе Куна (то есть то, что Венкус относил к типу *Hausgefolgschaft*) и скептически высказывается о попытках расширить смысл и значение этого понятия. Но при этом и относительно даже этого узкого понимания отмечается, что хотя «концепция (германской дружины – П. С.) имеет большое историческое и социо-этнологическое значение, она оставляет основные вопросы открытыми и поэтому во многих пунктах спорна»¹¹⁸.

Таким образом, в современной немецкой историографии произошёл отказ от национально-романтических идей дружины и дружинной верности как специфически германского явления. В работах, касающихся развития отношений господства и властных структур, дружинам, если о них вообще и заходит речь, отводится чисто техническая и ограниченная роль. Концепт дружины, наиболее последовательно разработанный Шлезингером в рамках «*Neue Deutsche Verfassungsgeschichte*» в связи с теорией *Adelsherrschaft*, оказался не востребовавшимся в работах, исследующих древнегерманские и раннесредневековые общества из «антропологической» перспективы¹¹⁹. Отсутствие в этой перспективе политико-юридических построений *Verfassungsgeschichte* естественно, хотя нельзя не пожалеть, что попытка Венкуса «вписать» в эту перспективу вопрос о дружине также не находит в немецкоязычной историографии никакого отзвука и продолжения.

Последнее обстоятельство тем более странно, что в литературе на английском языке «антропологический» подход в изучении «германской дружины» – или, наверное, правильнее: объединений дружинного типа у германцев – получил развитие. О двух таких работах будет подробнее сказано ниже после нескольких общих замечаний об англоязычной литературе по поводу «германской дружины».

* * *

Понятно, что интерес к «германской дружине» (и вообще к древним германцам) в других, помимо немецкой, историографических традициях сравнительно невелик. Например,

¹¹⁵ См. в книге Альтхоффа, вышедшей почти одновременно со статьёй Венкуса (Althoff 1990), аналогичные рассуждения о Таците (с. 18–22), в том же духе критика идей о «господстве» и «товариществе» и указание на модель «ранжированного общества» (с. 144–155). См. обзор работ Альтхоффа и дискуссий вокруг его идей в сборнике, подготовленном к его 65-летию: Kamp 2010.

¹¹⁶ Dick 2008, с. 202.

¹¹⁷ Ср. также, например: Pohl 2002, с. 30.

¹¹⁸ Timpe 1998, с. 537.

¹¹⁹ См. программную статью В. Поля с обзором современных тенденций в изучении раннесредневековых государств: Pohl 2006, особенно с. 16–27 об «anthropologische Wende».

французские историки не используют понятия дружины. Так, Фюстель де Куланж придавал существенное значение военным объединениям у франков в своей картине раннесредневековой истории Франции, но в качестве частной формы патроната и в связи со становлением феодализма – недаром о них речь идёт в разделе под характерным заглавием «*Les origines du système féodal: le bénéfice et le patronat pendant l'époque mérovingienne*»¹²⁰. Марк Блок тоже в разделе о становлении вассалитета говорит как об одном из его корней о «домашних воинах (*guerriers domestiques*)», которые существовали повсеместно в раннесредневековой Европе, а Жорж Дюби ещё более неопределённо мельком упоминает просто о «соратниках (*combattants*)» «вождей (*chefs*)»¹²¹.

В английской медиевистике влияние *Verfassungsgeschichte* не было, конечно, настолько сильным, как в немецкой, и теории вроде идеи германской верности не имели большого значения и распространения, особенно после того, как они были подняты на щит нацистской идеологией. Институт дружины как таковой никогда не становился частью каких-либо универсально-исторических или историко-юридических построений; в английском языке (как и во французском) отсутствует и соответствующий общепризнанный термин (чаще используют слова *retainers* и *war-band*)¹²².

Тем не менее, в ряде работ второй половины XIX – начала XX в. влияние немецкой медиевистики (передовой на тот момент) всё-таки сказывалось, да и военно-патриотические представления об «англосаксонском духе», в русле романтического поиска «национальных корней», вдохновлялись во многом героическими идеалами «Беовульфа», «Битвы при Молдоне» и других произведений древней английской литературы. И тогда, и в недавнее время имели место попытки установить ту или иную связь — иногда косвенную и ограниченную эпохой «вторжения» англов и саксов на Британские острова, но иногда прямую и непосредственную преемственность, которая сказывалась вплоть до X–XI вв., – между этими идеалами и реалиями раннесредневековой Англии, с одной стороны, и тацитовским *comitatus*, с другой¹²³. Относительно недавним примером является книга американского историка Стивена Эванса, который в модель тацитовского *comitatus* вписывает германские и кельтские дружины раннесредневековой Англии, опираясь, главным образом, на героический эпос (англосаксонский, валлийский и ирландский)¹²⁴. Один из рецензентов книги, известный английский историк Патрик Вормлэнд отметил описательный характер книги, которая даёт обзор ("a neat resumé") исторических свидетельств о военных объединениях англосаксов и кельтов, основанных на личных отношениях между вождём и его непосредственным окружением, но не приносит ничего нового в аналитико-методологическую и теоретическую разработку темы¹²⁵.

Такая оценка книги Эванса говорит не только о ней самой, но и об историографической ситуации. Историков теперь интересует больше уникальное, чем общее, важнее внутренняя логика локальной динамики и отличия от неких давно известных и описанных «моделей», а не сходства с ними. Тогда, когда познавательные возможности той или иной теории или

¹²⁰ См.: Фюстель де Куланж 1910.

¹²¹ Block 1994, с. 217–224 (ср.: Блок 2003, с. 149–154); Duby 1973, с. 141. Ср., например, в специальных штудиях – из старой литературы: Guilhiermoz 1902, с. 5–77, и из новой: Le Jan-Hennebicaue 1991/1995.

¹²² Характерно, например, что Х. М. Чадвик, автор классической работы об «институтах» англосаксонского периода («*Studies on Anglo-Saxon Institutions*»), такого института, как «дружина» не знает: Chadwick 1905. Неслучайно и отечественная исследовательница социально-политической структуры англосаксонской Англии говорит не о «дружине», а о «патронате» и «покровительстве»: Савело 1977, с. 20–21, 42–43.

¹²³ Среди старых работ см., например, в классических: Kemble 1846/1876, с. 162–181; Chadwick 1912, с. 348–355, 376–377; Stenton 1943/1947, с. 298–302; Whitelock 1952/1974, с. 29–47.

¹²⁴ Evans 1997

¹²⁵ Wormland 1999, с. 673.

схемы исчерпаны и накапливается всё больше данных, которые не вписываются в неё или просто противоречат ей, возникает закономерный вопрос – а стоит ли её придерживаться?

Характерной для современной тенденции критического пересмотра традиционных представлений является статья Роузмэри Вулф¹²⁶. Отправной точкой для рассуждений Вулф стало традиционное сопоставление утверждения Тацита в гл. 14 «Германии» о том, что для дружинника «выйти живым из боя, в котором пал вождь, – бесчестие и позор на всю жизнь»¹²⁷, и эпизода известной англосаксонской поэмы конца X – начала XI в. «Битва при Молдоне», в котором описывается героическая гибель двух воинов Вульфмера и Эльфтнота, отказавшихся покинуть поле битвы, когда исход её уже был ясен, после смерти своего предводителя Бюрхтнота¹²⁸. Обычно в историографии это сопоставление служит доказательством преемственности «идеала дружинника, погибающего вместе со своим вождём», в германской традиции от Тацита до высокого Средневековья. Вулф взяла на себя труд пересмотреть ещё раз все свидетельства о такого рода «добровольном самоубийстве» дружинника в сочинениях античных писателей и пришла к выводу, что лишь в одном случае такое свидетельство подтверждается реальным историческим фактом (в «Истории» Агафия Схоластика VI в.) и скорее речь надо вести о литературном «бродячем сюжете» (топосе).

С другой стороны, она показывает, что в древнеанглийской литературе обычными способами поведения воинов после гибели их предводителя является совсем не гибель в том же бою, а либо месть за него (осуществление которой может растягиваться на многие годы), либо договор с победителем. Подчёркивая также различия между германскими дружинниками Тацита и англосаксонской знатью X в. в социальном плане (главным образом, то, что представители последней уже имели собственные земли, состояли в сложных отношениях с правителем и его двором и т. д.), исследовательница заключает, что между ними не могло быть и преемственности в идеалах. Эпизод же с Вульфмером и Эльфтнотом она объясняет влиянием на английскую поэзию скандинавской, а именно примером древней датской поэмы «Речи Бьярки» («*Bjarkamál*»), где прославляется гибель в бою двух воинов Бьярки и Хьялти у тела убитого вождя Хрольва Краки. С точки зрения Вулф, английский поэт воспринял этот сюжет как «экзотический» вариант идеи верности, не имея никаких пропагандистских или морализаторских целей: такие сцены, пишет она, «ни возводят в образец, ни отрицают некое моральное обязательство, но скорее иллюстрируют героическую сторону человеческой воли»¹²⁹.

Выводы Вулф были поддержаны в работе Стивена Фаннинга, который подвергает ещё более резкой критике и саму концепцию «германской дружины», включающую необходимым элементом героический идеал верного дружинника, и попытки увязать с ней англосаксонские данные. В его заключительных замечаниях ключевым является слово *fiction* – выдумка, вымысел, фантазия. «*Fiction*» он считает и «...обычное современное представление о дружине (*warband*), описанной Тацитом», и то, что «дружины (*warbands and retinues*), фиксируемые в Англии англосаксонской эпохи, похожи на *comitatus* Тацита», и то, что описания этих дружин в древней литературе «отражают современное им общество в таком виде, какой историк может признать относительно достоверным», и вообще *comitatus* – это «миф»¹³⁰.

Очевидно, статьи Вулф и Фаннинга пересекаются с дискуссией, развернувшейся в немецкоязычной историографии по поводу «германской верности» и вообще «германского

¹²⁶ Woolf 1976.

¹²⁷ Тацит 1969/2001, с. 465. Ср. выше с. 51.

¹²⁸ Русский перевод см.: Древнеанглийская поэзия 1982, с. 137–156.

¹²⁹ Woolf 1976, с. 81.

¹³⁰ Fanning 1997, с. 35.

континуитета». Хотя статьи Вулф и Фаннинга, возможно, слишком полемически заострены и само существование у германских народов (по крайней мере, некоторых) идеала воина, готового умереть за вождя, вряд ли может быть поставлено под вопрос¹³¹, вполне оправданы как критика расхожих представлений о преемственности и распространённости определённых идей или институтов, так и призыв к осторожному подходу в компаративных исследованиях и к вниманию к деталям и уникальным особенностям каждого конкретного явления, фиксируемого в определённом месте в определённый момент. Во всяком случае, авторы целого ряда работ, самых разных по подходам и конечным выводам, в изучении героических идеалов древнеанглийской литературы и их взаимодействия с христианскими идеями и представлениями вполне обходятся не только без особой концепции дружины, но и без самого этого понятия¹³².

* * *

На фоне господствующего среди историков скепсиса по отношению к теории «германской дружины» смелыми и неожиданными выглядят попытки «спасти» эту теорию, наполнив её новым содержанием, со стороны исследователей, обратившихся к культурно-антропологическим идеям и методам. Мне известны две работы такого рода: книги американского историка Майкла Энрайта и голландского историка Йоса Базельманса.

Исходным для исследования Энрайта под названием «Дама с кубком мёда: ритуал, пророчество и власть в европейской дружине от культуры Ла Тен до эпохи викингов» является наблюдение об особенной роли жены предводителя дружины во время дружинного пира. Наиболее ярко, по мнению автора, эта роль видна в известном эпизоде «Беовульфа», когда Беовульф прибывает в Хеорот к королю данов (датчан) Хродгару, его приглашают на пир и этот пир начинается с того, что жена Хродгара Вальхтеов подносит первый кубок мёда своему мужу. В этой церемонии подношения кубка с тем или иным алкогольным напитком женой дружинного предводителя (короля) своему мужу Энрайт видит отражение определённого религиозного культа, связанного со становлением дружинной организации, а также иерархии внутри этой организации. Книга призвана продемонстрировать этот тезис как на материале письменных источников от сочинений античных авторов до исландских саг, так и на археологических данных от эпохи кельтской культуры Ла Тен (ок. 6–1 вв. до н. э.) до рубежа I и II тысячелетий н. э.

Автор, хорошо ориентирующийся в дискуссиях вокруг германской дружины, предлагает своё понимание сути этого явления. По его мнению, первоначально групповая солидарность дружины (*Genossenschaft* – «товарищеское начало», по терминологии немецкой *Verfassungsgeschichte*) основывалась на имитации родственных связей (так как именно они в архаическом обществе рассматривались как наиболее надёжные), но «горизонтально организованная *Gefolgschaft* постепенно теряла элемент непосредственного равенства между господином и дружинником и превращалась в вертикальные отношения, основанные на службе». Присоединяясь к критикам идеи верности как фундамента дружины, Энрайт также скептически оценивает и значение дара как средства сплочения предводителя и дружинников между собой: «даже если дар был дан щедро и свободно (без ясно обозначенных условий), это было обычно пожалование только до смерти получателя и его держание было обусловлено милостью господина». Настоящей основой групповой солидарности дружины был, по мнению Энрайта, религиозный культ бога Бодана (заместившего кельтского бога Луга) и его спутницы (супруги) богини Росмерты, а актуализировалась и обновлялась эта

¹³¹ Ср., например, критические замечания на статью Вулф: Harris 1993.

¹³² См., например: Cherniss 1972; Surber-Meyer 1994; Hill 2000.

солидарность на пиршественном собрании всех членов военного объединения дружинного типа, которое (собрание) «было нацелено на создание связей верности, не обусловленных родством, а алкоголь использовался как средство достижения экстаза и общения со сверхъестественным»¹³³. Особая роль в культе и, следовательно, в укреплении дружинной солидарности, принадлежала супруге предводителя, которая в церемонии подношения кубка выражала идею превосходства вождя-господина и, кроме того, играла роль своеобразного медиатора в преодолении внутренних конфликтов в дружине, особенно в период после смерти одного предводителя и до признания власти следующего (как правило, женившегося на вдове умершего). В церемонии подношения кубка автор видит древнейший ритуал инаугурации предводителя в сан короля.

По всей видимости, Энрайт во многом справедливо заострил внимание на том, что военно-дружинные объединения, которые иногда рассматриваются исключительно как мужские группы и даже как специфические «мужские союзы», не могли существовать без женщин, а некоторые женщины могли даже иметь важное «функциональное» значение в этих объединениях. Подчёркивая значение пира и употребление алкоголя как средств укрепления солидарности, автор удачно обобщает наблюдения по этому поводу, накопленные в литературе, и обильно использует археологические данные, демонстрируя преемственность кельтской традиции ритуального застолья и германской¹³⁴. Но сомнительной выглядит идея о религиозных корнях власти дружинного вождя и дружинной солидарности.

Особенно натянутой выглядит попытка проследить корни религиозно обоснованного участия женщины в дружине. По мнению Энрайта, оно появилось в определённый момент, а именно в I в. до н. э., в результате сложения нескольких традиций и обстоятельств. Традиционным было участие женщин в военных делах древних германцев. Кроме того, сказалось влияние военных достижений и городской культуры Римской империи. Но решающим, по Энрайту, было влияние кельтских культов бога Луга/«Меркурия» и богини Росмерты. В результате сложилась связь дружинный лидер-прорицательница (его жена), скреплявшая дружинный союз. Первым примером такой связи («прототипом») Энрайт считает сотрудничество вождя батавов Гая Юлия Цивилиса, прославившегося как предводитель восстания против римлян в 68–70 гг., и прорицательницы Веледы¹³⁵. Однако, доказательства Энрайта здесь состоят из ряда допущений и предположений, имеющих очень шаткое основание в источниках¹³⁶. Особенно сомнительным выглядит сохранение «конститутивной пары» вождь/прорицательница в условиях христианизации.

Мысль о кельто-германской преемственности кажется разработанной недостаточно и недифференцированной. Если религиозное влияние, в частности, в связи с традицией совместных трапезы и питания, можно допустить, то проблематичным выглядит сопоставление социальной организации военных объединений кельтов и германцев. Автор утверждает их принципиальное сходство, резко возражая устоявшемуся мнению об их различии¹³⁷. Он сам заявляет, что первоначальная германская дружина носила «домашне-семейственный» характер и что в неё входили только свободные люди, но, с другой стороны, признаёт, что два основных слоя кельтской военной организации составляли *soldurii* – свободные и знатные люди и *ambacti* – их несвободные или полусвободные клиенты или слуги (функцией которых было, судя по всему, не столько воевать, сколько обеспечивать логистику – нести оружие и

¹³³ Enright 1996, с. 1–38, 188.

¹³⁴ Enright 1996, с. 97–168.

¹³⁵ Там же, с. 217, 261 и др.

¹³⁶ Например, о взаимодействии Веледы с Цивилисом известно только, что он часто прибегал к её предсказаниям, но нет решительно никаких данных ни об их браке, ни об её участии в дружинных или племенных пирах и т. п., ср.: там же, с. 92–93.

¹³⁷ Там же, с. 142 и след., 200–204.

т. п.). Очевидно, в социальном плане это были две разные организации, на что неоднократно обращалось внимание в литературе (например, в работе Г. Куна). Попытки Энрайта решить это противоречие не убедительны (якобы указание античных писателей на то, что *ambacti* были рабами и слугами, – это метафора, а на самом деле речь идёт о молодых членах дружины).

Конечный вывод американского историка о континуитете дружинной организации звучит весьма смело: «героический этос и воинственная религиозность были стержнем германской культуры около тысячелетия от Цивилиса до Беовульфа и продолжали быть таковыми и после распада Каролингской державы. Феодализм был не более чем мутацией принципа *comitatus*... Утверждение может показаться несколько парадоксальным, но не бессмысленным: раннесредневековая культура начинается с культуры Ла Тен»¹³⁸. Попытка Энрайта дать синтетическую теорию происхождения, сущности и форм германо-кельтской дружины плохо согласуется с преобладающим ныне скептическим отношением к широким обобщениям и ставит его работу скорее в ряд с построениями Шлезингера, хотя она осуществлена с уже совсем иных методологических позиций.

Подход голландского историка и археолога Йоса Базельманса основан на антропологической модели, которую разработали французский антрополог Луи Дюмон и его последователи, отталкиваясь от знаменитого труда Марселя Мосса «Очерк о даре» и исследуя, главным образом, разного рода кастовые системы, известные у некоторых народов древности и современности¹³⁹. Исходя из тезиса, что связь через дары обеспечивала единство архаического (догосударственного) общества, Дюмон развил идею, что обмен дарами связывал не только людей, но и мир предков и даже, возможно, всякого рода других потусторонних существ и богов, которые таким образом становились интегральной частью «общества в целом» («холистический» подход). При этом сам дар не рассматривался отчуждённо, то есть как объект, а сохранял непосредственную связь с субъектом, то есть с человеком или, например, предком, владевшим им. Более того, каждая вещь, включённая в обмен как дар, несла определённую «составляющую» или «качество» личности, и приобретение этого «качества» мыслилось необходимым для каждого человека, чтобы не только включиться в социальное общение, но и самому перейти из одного этапа жизненного цикла в другой. Так, например, приобретение человеком при рождении такого «качества», как «тело», обуславливалось соответствующим обменом дарами (с родственниками, предками, соседями и т. д.), разумеется, при соблюдении определённых обрядов.

Эту модель историк пытается подтвердить на материалах «Беовульфа», углубляясь также предварительно в давно и многосторонне обсуждаемый вопрос о соотношении христианских и не- или дохристианских элементов в поэме. В исследовательских главах он изучает «социальное пространство» «Беовульфа» (то есть, кто действует и где: конунг, дружина, соседние народы, чудовища, бог – пиршественная зала, пещера с сокровищем и т. д.), обращая особое внимание на «обряды перехода» (*rites de passage*), отмечавшие фазы жизненного цикла, – прежде всего, погребальный ритуал, – и на те вещи, о которых в произведении говорится как о дарах. В итоге Базельманс находит в англосаксонской Англии следующие «составляющие» человеческой личности в смысле модели Дюмона: «тело», «жизнь», «ум» (*mind*), «ценность, достоинство или ценностный статус» (*worth*) и «душа». Важнейшей для знатного англосакса являлась связь «жизни» и «тела» с «ценностным статусом». Обеспечивалась эта связь, «конституировавшая» личность, посредством обрядов жизненного цикла и обмена дарами, которые, как подчёркивает голландский учёный, нередко и называются в тексте поэмы либо прямо «жизнью», либо подобным образом. «Анализ "Беовульфа", –

¹³⁸ Там же, с. 287.

¹³⁹ Русский перевод главного труда Дюмона: Дюмон 2001. «Очерк о даре» Мосса: Мосс 1996.

делает вывод исследователь, – показывает, что эти последовательные обряды составляли важную сторону жизни *Gefolgschaft*, организуя её "хронологию", и что дружинники, вожди и короли были вовлечены в грандиозный ритуальный цикл, в котором они выполняли взаимодополняющие роли: дружинники проходили этапы становления "личности" от ребёнка до взрослого, а умерший вождь или король превращался в предка. Хитросплетения отношений в среде дружинников между собой, между дружинниками и королями и между самими королями, которые привлекают такое большое внимание современных учёных, не могут быть поняты в отрыве от этого всеохватывающего ритуально-космологического контекста»¹⁴⁰.

Таким образом, Базельманс, признавая англосаксонскую дружину одной из форм германской *Gefolgschaft*, считает, что принципом, основополагающим для отношений вождя (конунга, короля) и дружинников внутри неё, были не культурно-идеологические или социальные факторы – например, идеал верности или материальная заинтересованность, – а их «ритуально-космологическая» взаимозависимость. Вождь, предоставляя дары дружиннику и приобщая его к ценностям, аккумулированным, главным образом, в результате обмена же дарами, давал ему возможность приобрести свой «ценностный статус» (*worth*) и тем самым завершить набор «составляющих» его личности, а кроме того, служил «посредником» между ним и миром предков-героев. Идея, что вступление молодого знатного человека в дружину было шагом необходимым для формирования его личности и обретения своего статуса и своей «репутации», ярко выражается, по мнению исследователя, в словах поэмы, вынесенных им в заглавие книги, которыми характеризуется Беовульф, выступающий во главе своей дружины: «*by weapons made worthy*» – «*wæpnum geweorðad*» в оригинале (249b-251a), – то есть «обретший достоинство оружием» (где под «оружием» понимаются и военные подвиги, и первоначальное обеспечение молодого воина оружием со стороны вождя)¹⁴¹. Дружинники же были необходимы королю для того, чтобы они после его смерти обеспечили ему переход в мир предков посредством выполнения определённых погребальных обрядов, часть которых понималась как своеобразный обмен дарами между этим миром и тем¹⁴².

Базельманс видел смысл своей работы в преодолении того тупика, в который зашла немецкая историко-юридическая школа в изучении «германской дружины»¹⁴³. Такое движение исследовательской мысли – от институциональных построений к критике в духе «лингвистического поворота» и антропологически ориентированным подходам – в общем прослеживается и в изучении дружинных объединений, известных на славянской почве.

¹⁴⁰ Bazelmans 1999, с. 189–190.

¹⁴¹ Ср. безликий русский перевод В. Г. Тихомирова, потерявший многозначность ёмкого выражения древнего поэта: «...не видел витязя сильней и выше, чем ваш соратник – не простолюдин в нарядной сбруе...» (Беовульф 1975, с. 41). Непонятно, откуда взялась в переводе какая-то «сбруя» (!).

¹⁴² Ср. безликий русский перевод В. Г. Тихомирова, потерявший многозначность ёмкого выражения древнего поэта: «...не видел витязя сильней и выше, чем ваш соратник – не простолюдин в нарядной сбруе...» (Беовульф 1975, с. 41). Непонятно, откуда взялась в переводе какая-то «сбруя» (!).

¹⁴³ Ср. его историографический очерк, не вошедший в книгу: Bazelmans 1991.

«Славянская» дружина

На славянских материалах тоже были попытки придать дружине важное (концептуальное) значение в объяснении процессов становления власти и государственной организации. В наиболее последовательных и оригинальных попытках такого рода сказывались импульсы из западной историографии, особенно немецкой. Видимо, из-за того, что само существование дружины позволяют из славянских стран предполагать только источники чешско-моравского, польского и древнерусского происхождения, труды, разрабатывающие проблему дружины, принадлежат авторам, писавшим по-чешски, по-польски и по-русски. Некоторые замечания по этому поводу можно найти в работах немецких историков.

Первые попытки описать «славянскую дружину» как институт и вписать её в некие схемы развития властно-государственных отношений были сделаны в русской дореволюционной историографии в начале XX в. под влиянием немецкой литературы. В более оригинальном ключе пытался применить идеи западной медиэвистики А. Е. Пресняков, и скорее механический перенос их на древнерусскую почву осуществил Н. П. Павлов-Сильванский. Русских историков интересовала прежде всего древнерусская дружина, и опирались они на древнерусские источники. Разумеется, и до этого некоторые историки отмечали, что по данным древнерусских летописей и других источников отношения князей с их приближёнными во многом напоминают тацитовский *comitatus* и «дружинные» порядки, прослеживающиеся по скандинавским источникам. Особенное внимание обращалось на сходство со Скандинавией, но это сходство важно было историкам не столько с точки зрения устройства древнерусского общества (или государства), сколько для демонстрации прочных и разносторонних связей руси со скандинавами¹⁴⁴. Только в трудах Преснякова и Павлова-Сильванского дружина была представлена как определённый и при том важный институт средневековой Руси.

Для Преснякова дружина была краеугольным камнем системы, которую он назвал «княжое право». Возводя эту систему к седой древности, он видел в ней фундамент государства, сложившегося на древнерусской почве, и противопоставлял её «народному вечевому быту». Она выросла, по Преснякову, из княжеского дома, «огнища», и во многом сохраняла такой «частноправовой» характер и в XII–XIII вв., лишь постепенно обретая формы общественного учреждения. Прямо ссылаясь на Г. Бруннера, Пресняков принимает его постулат, признавая дружину в качестве *Hausgenossenschaft*: «дружина, по существу, ни у нас, ни у германцев – не учреждение политического строя; это явление частного быта, притом исключительное и стоящее вне обычного течения народной жизни и потому живущее по-своему, лишь внешне соприкасаясь с укладом общинноправового народного быта. Искать определения дружины особо на русской почве нет основания: это явление общеевропейское...» Пресняков даёт такое «общеевропейское» определение дружины: «дружину можно назвать частноправовым, личным союзом, построенным на общности очага и хлеба господина со слугами, союзом, выделяющимся из общего уклада народной общины в особое, самодовлеющее целое. Она имеет и свой строй, свою организацию, как дом, двор господина». В древнерусских источниках Пресняков различал два значения слова *дружина* – более широкое (спутники, соратники) и более узкое. Именно второе, «более техническое значение» описывало «дружину в собственном смысле слова», то есть в том самом «общеевропейском» – «круг лиц, постоянно состоящий при князе, живущий при нём, разделяя все его интересы»¹⁴⁵. Эта дружина была главнейшим элементом системы «княжого права», организацией, которая служила опорой княжеской власти и пользовалась её особым покровительством.

¹⁴⁴ См., например, у М. П. Погодина: Погодин Исследования, 3, с. 228–232.

¹⁴⁵ Пресняков 1909/1993, с. 186, 189–190, 192–193.

Преснякову удаётся привести много убедительных свидетельств особо близких отношений князя и дружины в Древней Руси, тем более что по этому поводу в русской историографии XIX в. уже достаточно писалось («любовь» князя к дружине, материальная зависимость её от него и т. д.)¹⁴⁶. Однако, вместе с тем, акцентирование этих отношений приводит историка в конце концов к противоречию, которое так и не находит разрешения в его работе. В начале своих рассуждений о дружине Пресняков вслед за немецкими историками того времени признаёт, что основная тенденция развития дружинных отношений заключалась в смене их феодальными, когда дружинники обзаводятся собственными имуществом и землями. И хотя он тут же замечает, что особенностью Древней Руси, сблизившей её и с древней Польшей, и с англосаксонской Англией (но различавшей, например, с меровингской Францией), было долгое сохранение зависимости дружины от князя, но в конце концов всё-таки заключает, что со временем, в течение XI–XII вв., из боярства как высшего слоя дружины развился «влиятельный класс». Этот «класс» стал «во главе общественных сил» отдельно от княжого двора, и его разрушительное действие на дружинную организацию было настолько сильным, что «едва ли даже правильно говорить о политическом и общественном значении дружины в её целом» в XII в.¹⁴⁷ В то же время он наблюдает и перерождение термина *дружина*, который к концу XII в. снова становится «широким» по значению, но теперь охватывая «влиятельные верхи общества и всю военную силу княжества»¹⁴⁸.

Таким образом, историк как будто признаёт перерождение дружинных отношений в какие-то подобные феодальным. Однако тут же его рассуждения уходят от этого тезиса. С одной стороны, из этих рассуждений (довольно сбивчивых и неясных к концу раздела о дружине) выясняется, что бояре, отрываясь от дружины, не превращались в магнатов-землевладельцев – их «втягивала в себя» «городская вечевая стихия в XI–XII вв.». Но, с другой стороны, оказывается, что не устранялся и «особый характер дружинных отношений, влияние которых на положение князя среди населения, чем дальше, тем больше его преобразовывало, подготавливая превращение князя в вотчинника удела, политической единицы, в которой все отношения будут определяться личным отношением к князю составных её элементов». Историк, как будто забывая собственные слова в начале о боярстве как «влиятельном классе», утверждает: «боярство до конца рассматриваемого периода (то есть, как следует понимать, до начала XIII в. – П. С.) оставалось, несмотря на глубокие перемены в его положении, классом княжих мужей»¹⁴⁹.

В заключении ко всей книге Пресняков уже твёрдо стоит на том, что «с падением вечевого строя» «сила князя», опирающаяся на «принцип специальной княжеской защиты», развилась в удельно-вотчинный строй. Не находя в XI–XII вв. «признаков связи боярского землевладения с началами вотчинной юрисдикции», историк отводит этому землевладению второстепенное значение; вся позднейшая служилая система оказывается, таким образом, по происхождению частным «огнищем» князя¹⁵⁰. На закономерно возникающий вопрос «куда же подевался тот самый влиятельный боярский класс, который вышел из дружины?» автор ответа не даёт. Начав с западноевропейских аналогий, Пресняков вернулся к общепринятым в конце XIX – начале XX в. в русской науке воззрениям о «князе-вотчиннике», служебно-зависимом положении знати и т. д., которые исключали всякий разговор о феодальных отношениях.

¹⁴⁶ См., например: Загоскин 1876, с. 20–50; Довнар-Запольский 1904.

¹⁴⁷ Пресняков 1909/1993, с. 201, 203.

¹⁴⁸ Там же, с. 214.

¹⁴⁹ Пресняков 1909/1993, с. 225, 228.

¹⁵⁰ Пресняков 1909/1993, с. 225, 228.

Подходы Павлова-Сильванского и Преснякова различались. Последний брал только одну идею из западной историографии и развивал её на древнерусских материалах, приспособляя к собственным идеям и схемам. Первый же заимствовал целиком определённую «модель» развития средневекового общества, пытаясь встроить в неё или, точнее, подогнать под неё древнерусские данные. Этой моделью была теория феодализма в политико-юридическом его понимании, и Павлов-Сильванский заимствовал её из трудов современных ему западных, в основном, немецких медиевистов. Поскольку в той модели *Gefolgschaft* занимала важное место, аналогичный институт надо было найти и в Древней Руси, и эта аналогия приобретала уже принципиальный характер. Ссылаясь на труды Г. Вайтца и Г. Бруннера, Павлов-Сильванский выдвигал тезис, что в средневековой Руси, как и на Западе, «вассальные отношения развились из дружинных»: «вассалитет – это отделившаяся от князя, оседлая, землевладельческая дружина»¹⁵¹. Таким образом, дружина для Павлова-Сильванского была важна постольку, поскольку она служила истоком вассальных отношений.

Сегодня логика рассуждений и доказательств Павлова-Сильванского уже не представляется сколько-нибудь убедительной. Во-первых, едва ли современная наука может признать адекватной саму феодальную модель, которую он взял на вооружение. В частности, по меньшей мере упрощением считается утверждение о прямом происхождении западноевропейского вассалитета, как он начал складываться в каролингское время, от «германской дружины» (если существование последней вообще признаётся)¹⁵².

Во-вторых, не выдерживают критики и те методы, которыми русский историк пытался применить эту модель к древнерусским материалам¹⁵³. Так, если Бруннер отличал «домашнее товарищество» от других видов военно-дружинных объединений, то Павлов-Сильванский, сначала отмечая именно «домашний» характер древнерусской дружины (со ссылкой на «огнище» и т. п.), далее сравнивал её уже без всяких оговорок и с другими формами военных объединений германцев, выводя за скобки лишь «народное ополчение». Из характеристики германской дружины Вайтцем русский историк выделяет идею о фундаментальном отличии дружинников от знати (древнерусскую знать он видит в «земском боярстве»). Однако при этом Павлов-Сильванский проигнорировал тот факт, что для Вайтца дружина не была ни в коем случае явлением частного («домашнего») происхождения. Немецкий историк указывал на публично-правовой характер дружины, выполнявшей функции органа государственного управления при выборных *príncipes* (ср. выше). О том, что как для Вайтца, так и для Бруннера и сам институт дружины, и трансформация его в вассалитет были типично и исключительно германским явлением, поскольку покоились на специфически германской верности, Павлов-Сильванский не упоминает вовсе. Его компаративный метод сводится к иллюстративному подбору данных источников и выводов исследователей, вырванных из контекста и удобных для доказательства собственного тезиса. Сглаживая острые углы, обходя дискуссионные вопросы (существовавшие, конечно, и среди немецких историков в конце XIX – начале XX вв.) и отбрасывая «ненужные» детали и подробности, Павлов-Сильванский получал красивую картину, состоящую как будто только из убедительных аналогий.

Несмотря на определённые противоречия, недоговорённости или прямолинейные заключения труды Преснякова и Павлова-Сильванского имели большое значение, потому

¹⁵¹ Павлов-Сильванский 1910/1988, с. 425–429.

¹⁵² Современные взгляды на происхождение вассалитета см., например: Schulze 1985/1995, с. 54–94; Goetz 1995, с. 472–473. О вассалитете см. также в книге Сьюзан Рейнолдс (Reynolds 1990), резко критической по отношению к традиционным представлениям о феодализме, спровоцировавшей широкое обсуждение «проблемы феодализма» на рубеже XX–XXI вв.; ср. дискуссию «Феодализм перед судом историков» в журнале «Одиссей. Человек в истории» за 2006 г. Ср. также: Стефанович 2011.

¹⁵³ Ср. также критику его попытки найти древнерусские аналогии западноевропейскому оммажу: Стефанович 2008, с. 202–203.

что впервые предложили понимать древнерусскую дружину как институт, сыгравший важную историческую роль в становлении древнерусской государственности и при этом аналогичный подобным институтам в других средневековых обществах. По вопросу об историческом значении дружины русская наука даже в каком-то смысле опередила немецкую. Пресняков, идя вразрез с господствующим мнением в тогдашней немецкой историографии, совершенно правильно исходил из того, что дружина – это «общеευропейское» явление. Не обращая внимания на «германскую верность» и Павлов-Сильванский. Если Вальтер Шлезингер только в середине XX в. признал дружину за важнейшую форму происхождения и утверждения *Herrschaft*, то Пресняков уже в 1909 г. писал о ней как главном элементе «княжого права». Конечно, Шлезингер и Пресняков имели в виду не совсем одно и то же: первый, например, говорил о происхождении власти, другой – о её инструменте; первый – о дружинах у всех знатных, второй – о дружине княжеской. Но в главном их мысль была схожа – они подчёркивали, что дружина стоит в тесной и даже неразрывной связи с укреплением власти и господства.

Не случайно, что работы Преснякова и Павлова-Сильванского оказали значительное влияние на последующую литературу по истории Древней Руси – как на советскую историографию, ставшую на позиции марксизма, так и на работы историков, работавших вне СССР. В «официальной» советской концепции древнерусской истории была воспринята, прежде всего, идея о перерастании «дружинных» отношений в «феодальные», которую Павлов-Сильванский, заимствовав из немецкой *Verfassungsgeschichte*, пытался применить к Древней Руси. Отталкиваясь от этой идеи, Б. Д. Греков и С. В. Юшков предложили трактовку роли знати и дружины в древнерусской истории, которая стала «канонической» для советской историографии.

В этой трактовке главный акцент был перенесён на явление, отмеченное Пресняковым, но не получившее в его рассуждениях последовательной оценки, – образование «влиятельного класса» боярства, во многом независимого от князя и княжеской власти. Юшков вслед Преснякову говорит о «дружине в тесном смысле слова», о том, что «она может быть признана не только всеевропейским институтом, но институтом, существовавшим и в других частях света на определённой стадии общественного строя», о том, что её «основными признаками» были «бытовая и хозяйственная общность с князем, нахождение дружины на содержании князя и, следовательно, невозможность для дружинника владеть своим имуществом, домом, землёй». Однако важнее для Юшкова была не столько характеристика самой дружины, сколько фиксация процесса её «разложения», когда «дружинники превращаются в землевладельцев, в феодалов, когда разрушается хозяйственная и бытовая общность князя и дружины»¹⁵⁴. В этом с ним был солидарен Греков: «история дружины... заключается в том, что, начав свою жизнь в качестве членов княжеского или боярского двора на иждивении своих хозяев, дружинники постепенно превращаются в землевладельцев – сначала на праве бенефиция, потом феода, в связи с чем меняется и их политическое значение»¹⁵⁵. Именно тезис об образовании класса крупных землевладельцев («феодалов») был центральным в советской концепции феодализма, которая стремилась доказать общность путей развития русской истории и европейской.

Феодальное общество, по Юшкову, складывается на Руси в XI в.; «разложение дружины» закончилось уже в правление Ярослава «Мудрого»¹⁵⁶. Греков хотя и уклоняется от точной датировки процесса «оседания» и «разложения дружины», относит начало складывания «феодального землевладения» уже к IX–X вв. В «феодалов»-«вассалов», обязанных

¹⁵⁴ Юшков 1939, с. 144.

¹⁵⁵ Греков 1939/1953, с. 345.

¹⁵⁶ Юшков 1939, с. 35, 230.

князю службой, но и диктующих ему свои условия, превращался собственно только «верхний слой дружинников» – бояре, которые в летописи могли выступать под названием «старшая дружина», а «низший слой» – «младшая дружина» – превращался в «министериалов». Важным пунктом построений Юшкова и Грекова было утверждение, что «класс феодалов» сложился на Руси не только из бояр как «верхнего слоя дружины», но и из «родоплеменной знати», то есть местной, не-киевской, знати, не включённой в систему княжеского управления. Эта местная знать тоже владела землёй с зависимыми людьми, и в таком качестве землевладельцев вошла в «господствующий класс крупных феодалов-сеньёров» Киевского государства¹⁵⁷. Греков и Юшков тем самым возвращались к тезису о «земских боярах», общераспространённому в историографии XIX в., от которого Пресняков отказался.

Таким образом, в трактовке Грекова-Юшкова понятие дружины отходило на второй план. Образование государства и феодального общества мыслились как две стороны одного процесса (потому что государство – это инструмент насилия в распоряжении господствующего класса, то есть «феодалов», и пока нет этих последних, нет и государства), а институт дружины отодвигался в эпоху «доклассового общества», хотя и на последней его стадии – «военной демократии»¹⁵⁸. Согласно такой логике, в древнейших письменных памятниках по истории Руси, относящихся к X–XI вв., историки должны были видеть уже совсем не какие-то древние дружины (от них сохранялись только «отголоски» и «реликты»), а зарождающийся «класс феодалов».

Такой подход советских марксистов был по сравнению с рассуждениями Преснякова несомненно ближе исходным схемам немецкой *Verfassungsgeschichte*, в тесной связи с которой стояли, естественно, и построения самого Маркса. Этот подход был более логичен, потому что объяснял появление и силу того «влиятельного класса боярства», о котором Пресняков выражался как-то невнятно. Однако, советская концепция феодализма имела свои проблемы, хотя они лежали скорее не в плоскости формальной логики, а в собственно исторической – главный изъян этой концепции был в том, что она имела весьма шаткую опору в источниках. Очевидным слабым звеном её был главный тезис о раннем зарождении крупного частного землевладения, которое якобы стало главным источником экономической и политической силы боярства. На то, что этот тезис не находит подтверждения в источниках, было обращено внимание сразу же в дискуссиях, развернувшихся вокруг первых работ Грекова¹⁵⁹. Позднее именно этот тезис был отвергнут в теориях «государственного феодализма» Л. В. Черепнина и «общинного» строя Древней Руси И. Я. Фроянова¹⁶⁰.

Неясность остаётся и в трактовке дружины. Прежде всего, рассуждения Юшкова и Грекова оставляют без всякого ответа следующий вопрос: почему, несмотря на то что институт дружины принадлежит эпохе «доклассового общества» и он «разлагается» уже в X – начале XI в., само слово *дружина* в древнерусских источниках широко употребляется и в XI, и в XII вв., и даже в более позднее время? Кроме того, средневековые источники свидетельствуют, что знать гораздо теснее была связана с князем, в том числе и материально, чем это следовало бы предполагать, если приписывать ей крупное землевладение, вассальные договоры и т. п.

Эти и другие противоречия и неясности «классической советской» концепции русского феодализма заставляли историков уже в 1970–1980-е гг. в том или ином пункте её корректировать. Не исчезло со страниц работ (в том числе учебных и популярных), посвящен-

¹⁵⁷ Греков 1939/1953, с. 341–345; Юшков 1939, с. 31–35, 144–159.

¹⁵⁸ Понятие «военная демократия» было предложено Льюисом Генри Морганом. В марксистской науке, вслед Энгельсу, «военной демократии» было придано универсальное значение как этапу развития первобытного общества, предваряющему образование классов и государства, см.: Першиц 1986б.

¹⁵⁹ См., например: Бахрушин 1936, с. 48; Бахрушин 1937, с. 169.

¹⁶⁰ См. подробнее: Стефанович 2011.

ных истории Древней Руси, и понятие дружины, задвинутое Грековым, казалось бы, совсем на задний план. При том, что образование «класса феодалов» с момента зарождения древнерусского государства и само существование феодализма в средневековой Руси никем не ставились под сомнение, о дружине продолжали говорить применительно ко всему домонгольскому периоду. Грековская концепция не запрещала применять понятие дружины для «доклассового» («родоплеменного») общества, но фактически дружину понимали также и как форму организации «феодалов» на Руси в X–XIII вв. и тем самым возвращались к «самой собой разумеющемуся» (то есть вслед летописи) пониманию дружины в историографии XIX в., о котором говорилось в начале главы. Только если раньше к дружине приравнивали такие понятия как знать, аристократия и т. д., то в советской историографии таким тождественным понятием всегда было – должно было быть – «(господствующий) класс феодалов». Долгое время такое понимание фигурировало в исторических трудах как будто принятое «по умолчанию», и впервые, если не ошибаюсь, ясно его сформулировал в 1983 г. М. Б. Свердлов: дружина «в XI–XIII вв. была не отрядом воинов, лично преданных князю, как в родоплеменном обществе... а сложный по составу социальный коллектив, который представлял собой организацию господствующего класса, осуществляющую управление феодальным государством, военную службу и личную вассальную службу князю, связанную с княжеским двором»¹⁶¹.

Сохранению этого понятия в обиходе историков способствовало, помимо летописной терминологии, ещё одно важное обстоятельство – его популярность в среде археологов. Со времён заметки А. В. Арциховского под названием, говорящим само за себя: «Русская дружина по археологическим данным»¹⁶², в археологической литературе определение «дружинный» – одно из самых употребительных и даже в каком-то смысле «знаковых». Выражение «дружинные курганы» стало уже едва ли не специальным термином; но в публикациях можно встретить, например, и такие выражения, как «дружинная культура»¹⁶³, «дружинные древности»¹⁶⁴ и даже «дружинное сословие»¹⁶⁵. Речь при этом идёт, в сущности, об одном явлении – богатых захоронениях (преимущественно курганах) второй половины IX – начала XI в., которые фиксируются в нескольких пунктах на территории будущей Древней Руси и в которых в той или иной степени прослеживается скандинавский культурный элемент (иногда, правда, к этим захоронениям присоединяют и другие, более поздние¹⁶⁶).

Трудно сказать, почему для характеристики этого явления – безусловно, яркого и в разных отношениях выдающегося, но, с другой стороны, весьма многообразного и разнохарактерного – археологам так полюбили понятия *дружина* и *дружинный*. Возможно, дело в том, что в условиях идеологического давления на историческую науку в СССР оно оказалось наиболее обтекаемым и нейтральным: о «феодалах», захороненных в курганах, было бы говорить всё-таки слишком смело, но, с другой стороны, как-то ведь надо было согласовывать раскопанные материалы и с феодальной теорией, и с теорией раннего зарождения древнерусского государства (по Б. Д. Грекову и Б. А. Рыбакову, эти «дружинные древности» уже приходились на эпоху государственности у восточных славян) – тут и подошёл термин *дружина*, который позволял связать «доклассовую» эпоху и «классовую»-«феодальную» в нечто неопределённо переходное (то ли «военная демократия», то ли «раннефеодальное государство»).

¹⁶¹ Свердлов 1983, с. 215.

¹⁶² Арциховский 1939.

¹⁶³ Булкин, Дубов, Лебедев 1978, с. 12, 142.

¹⁶⁴ Ср., например, сборник под таким заглавием: Дружинні старожитності 2003.

¹⁶⁵ Седов 2002, с. 551 и след.

¹⁶⁶ См., например: Алешковский 1960.

Однако, каково бы ни было возникновение историографической традиции, надо признать, что все эти «дружинные» обозначения не очень удачны. Историки понимают под дружиной всегда некий социально-политический или даже социально-правовой институт – будь то архаическое объединение «тацитовского» типа («домашний союз» и т. п., то есть в том смысле, как писали Пресняков и Греков), будь то «организация господствующего класса», как выражался Свердлов. Между тем, археологические материалы по самой своей сути не могут служить свидетельством присутствия или отсутствия тех или иных политических или правовых институтов. Гнёздовские, черниговские и прочие курганы и захоронения многое, конечно, могут сказать о социальной дифференциации, хозяйственных занятиях, культурных или даже этнических характеристиках лиц, в них захороненных (и отчасти их соорудивших), но не о том, были ли они, грубо говоря, «дружинники» или «феодалы». Не может здесь служить критерием и скандинавский элемент – скандинавы в ту эпоху проявляли себя, конечно, весьма воинственно, но совершенно очевидно, с одной стороны, что далеко не всякий скандинав появлялся (и погребался) в Восточной Европе в качестве воина, а с другой – что не всякое военное действие совершалось именно и только дружинами (что бы под этим словом ни понималось и особенно – если не очень ясно, что надо под ним понимать).

Вполне справедливо недавно говорилось о запрограммированности «интерпретации археологических реалий», когда «определение "дружинный" становится универсальным ключом. Любой археологический артефакт "норманнского" или "норманоидного" свойства, коль скоро он рассматривается как признак повышенного статуса лица, его оставившего, почти неизбежно получает такое определение. "Дружинникам" принадлежат мечи, весы и гири, камерные захоронения и проч. от Ладоги до Киева и от Ярославского Поволжья до Волыни, дружинными оказываются курганы и целые некрополи, дружинным становится, наконец, само государство X в.»¹⁶⁷

Стоит заметить, что в западной археологической литературе господствует весьма и весьма осторожное отношение к определению тех или иных возможных следов дружины (как и вообще политико-правовых институтов). В частности, вопрос об отражении социальных различий и институтов типа дружины в археологических материалах особенно остро встал в немецкой историографии, когда в середине XX в. пересмотр традиционного тезиса о «демократическом» устройстве древнегерманского общества совпал с заметным ростом масштабов археологических разысканий и развитием их методов и техник. Сегодня ответ на этот вопрос более чем сдержанный. «Археологические возможности увидеть дружины ограничены», – утверждает Вальтер Поль¹⁶⁸. Показательно как отражение представлений, принятых в западной литературе, что С. Франклин и Дж. Шепард, обобщая археологические данные X в., не употребляют слова «дружина», «дружинный» и говорят в обтекаемых формулировках об элите, военных занятиях и т. п.¹⁶⁹

Известный немецкий археолог Хайко Штойер высказывается по этому поводу так: разбирая вопрос о дружине, «со стороны археолога лучше либо вообще воздержаться от каких-либо высказываний, либо надо допускать относительно много указаний на возможное существование дружины, каждый раз со всевозможными разъяснениями и оговорками»¹⁷⁰. В специальной работе, в которой Штойер попытался обобщить возможные критерии идентификации дружинных объединений по центральноевропейским материалам с эпохи бронзового века до рубежа I–II тысячелетий н. э.¹⁷¹, он заключает, что хотя имущественное расслоение

¹⁶⁷ Назаренко 2007, с. 171.

¹⁶⁸ Pohl 2000, с. 71.

¹⁶⁹ Франклин, Шепард 1996/2009, с. 197 и след.

¹⁷⁰ Steuer 1998, с. 546.

¹⁷¹ Steuer 1992. Ср. также в более общем контексте выделения социальных структур: Steuer 1982, особ. выводы на

в той или иной степени просматривается практически всегда, принципиально невозможно определить, о какого рода «знати» идёт речь (соответствующее немецкое слово *Adel* всегда употребляется им в кавычках). Археологические материалы не дают возможности выявить ни институциональные формы социальной жизни, ни правовое положение людей, в частности свободный/несвободный статус, ни формы зависимости населения хозяйственных комплексов. Штойер выделяет несколько видов археологических объектов, которые свидетельствуют о группах воинов и/или группах слуг или клиентов вокруг одного господина или вождя и которые могут рассматриваться как свидетельство дружины (так называемые «кладбища воинов» – *Männerfriedhöfe*, специально маркированные предметы вооружения, культа и жертвоприношений, роскоши и др.), но возможности такой интерпретации всегда ограничены, а заключения могут быть легко поставлены под сомнение¹⁷².

Итак, в позднесоветской историографии наметилась существенно иная трактовка древнерусской дружины по сравнению с концепцией Грекова-Юшкова. Логическое завершение этот пересмотр получил в работах А. А. Горского. Историк использует понятие «дружина» фактически так же, как и М. Б. Свердлов и многие другие историки второй половины XX – начала XXI в. – очень широко и применительно к славянским «догосударственным общностям» VI–VIII вв., и для характеристики элиты древнерусского государства всего домонгольского периода: «дружина представляла собой организацию военно-служилой знати на последнем этапе родоплеменного строя и в раннефеодальном обществе»¹⁷³.

«Разложение» древнерусской дружины вследствие её «оседания», то есть развития землевладения «дружинников», Горский относит ко второй половине XII в. За терминологией — то есть применением понятия дружины и к догосударственному периоду, и к древнерусскому домонгольскому — стоит принципиальный тезис о преемственности в самом институте, хотя эта преемственность понимается Свердловым и Горским по-разному. Для Свердлова, отстаивающего концепцию «неземельных феодалов», важно, что уже в славянской дружине были «генетически "запрограммированы" феодальные отношения», лишь развившиеся в Древней Руси в X–XII вв.¹⁷⁴ Горский же подчёркивает «государственно-служебное» начало в институте дружины, которое сначала (на «родоплеменном» этапе) служило мотором государствообразования, а позднее, уже в рамках древнерусского государства, спланивало знать вокруг центральной княжеской власти¹⁷⁵.

С акцентом на «государственно-служебном» характере дружины связан важный для Горского тезис, что в Древней Руси не было никакой другой знати, кроме «служилой», объединённой в княжескую дружину. Если в более ранней работе он ещё допускал значительную роль знати у славянских народов VI–VIII вв. и не исключал «существование родоплеменной знати в X в. в восточнославянских обществах» (хотя её роль и тогда ему представлялась «несравненно менее значительной, чем знати служилой»), то в работе 2004 г. он пришёл к выводу, что «племенной знати» не было уже и в «Славиниях» VI–VIII вв., а

с. 517–532.

¹⁷² В недавней работе Штойер предлагает свою модель эволюции «племенных» обществ в раннегосударственные, в которой важнейшее место он отводит военному фактору и военно-дружинным объединениям, но при этом он оговаривается: «The movement from warrior band to empire or territorial government always follows a pattern of which the individual stages cannot – or at best in some stages only – be archaeologically recognized. It is only the final goal, the completed occupation of land and new settlements completed with an ethnogenesis (tribalisation), which leaves its traces in the archaeological material» (Steuer 2006, с. 234).

¹⁷³ Горский 1989, с. 86.

¹⁷⁴ Свердлов 2003, с. 77, 264–265. Сущность дружинно-феодальных отношений между вождем (правителем) и его дружинниками Свердлов описывает выражением «дружба-служба верных» и распространяет свою схему не только на Русь, но и на другие славянские государства – ср.: Свердлов 1997, с. 34 и др. Критику концепции Свердлова о «неземельных феодалах» см.: Лукин, Стефанович 2006.

¹⁷⁵ Горский 1989, с. 25–27, 82–85; Горский 2004, с. 109–114. Ср. также: Горский 1999, с. 178–179; Горский 2006, с. 53.

применительно к Древней Руси ни о какой «местной» знати речи быть не может¹⁷⁶. Князья и их «служилая» знать – вот, собственно, и вся элита как славянских «племён», так и древнерусского государства; дружина — организация этой знати. «В целом институт дружины в Киевской Руси предстает как возглавляемая князем корпорация, в которую была объединена вся светская часть господствующего слоя», – пишет историк¹⁷⁷.

Вне зависимости от определения того, что надо понимать под «дружиной», о которой пишут русские летописцы (об этом пойдёт речь в главе II), тезис о преемственности этой последней с дружинами, существование которых предполагается у славянских народов, упоминаемых в византийских и латинских источниках VI–IX вв., является самым слабым звеном концепции, представленной в трудах М. Б. Свердлова и А. А. Горского. Неважно, идёт ли речь о «запрограммированности» феодальных отношений или «служилом» характере отношений князя и знати, всё-таки очень трудно, соглашаясь с авторами, признать, например, что в социально-культурном облике киевского боярина XII в. есть хоть что-то общее с обликом какого-нибудь славянина, терроризировавшего окраины Византийской империи в VII в. Логика рассуждений А. Е. Преснякова и Б. Д. Грекова с С. В. Юшковым, которые разделяли древнюю «дружину», понятую как «домашний союз», и «влиятельный класс» боярства, явно и бесспорно распознаваемый в древнерусских источниках, представляется предпочтительнее.

Разумеется, у славян, в том числе восточных в VIII–XI вв., был какой-то слой людей, выдающихся в имущественном плане, а может быть и в плане власти и авторитета, велика была роль войны как фактора социально-имущественной мобильности, – но признавать у них какой-то конкретный «институт дружины», да ещё определённым образом связанный с той «дружиной», о которой говорят нам русские летописи XII в., – это явная схематизация. Не имея нашего «славянского Тацита», мы в ещё большей мере, чем историки германских *gentes*, обречены на то, чтобы говорить не о какой-то одной определённой дружине («die Gefolgschaft»), а более размыто о «военно-дружинных объединениях» и т. п. (ср. «*gefolgschaftlich organisierte Verbände*» в приведённых выше высказываниях В. Поля и других немецких учёных).

В главе IV будет ещё подробно обсуждаться дискуссия о «земских» и «служилых боярах». Здесь пока только отмечу что крайняя позиция, занятая в этом вопросе А. А. Горским, даже с чисто теоретической точки зрения кажется неоправданной. Признание «служилого» характера за социальной верхушкой славянских народов-«племён» и русью X–XII вв. подразумевает, что в этих обществах не было никаких других каналов и механизмов социальной мобильности кроме службы вождю/правителю. Однако, как показывает исторический опыт, такая ситуация может возникать только в условиях развитой и даже гипертрофированной централизации, обеспечиваемой жёсткими государственно-бюрократическими механизмами. Тогда социальная иерархия совпадает с иерархией должностей в государственном аппарате, а продвижение по иерархической лестнице возможно только при занятии в этом аппарате. В советском обществе такой порядок, допустим, преобладал¹⁷⁸, но невозможно представить себе такую ситуацию применительно к архаическим обществам раннего Средневековья, где монополия центральной власти едва начала формироваться.

В литературе уже неоднократно указывалось и на конкретные данные источников, свидетельствующие, что в ранних славянских государствах была некая элита, которая могла состоять в неких отношениях с правителями, но вовсе необязательно «служебных» или «служилых», и которая, возможно, уходила корнями в догосударственные-«племенные» общно-

¹⁷⁶ Горский 1989, с. 38; Горский 2004, с. 14–19.

¹⁷⁷ Горский 2004, с. 112.

¹⁷⁸ Ср.: Восленский 1980/1991, с. 110 и след.

сти. Обстоятельное сравнительно-историческое исследование П. В. Лукина показало, что для обозначения этой элиты в разных областях расселения славян используется «возрастная» терминология (старцы, старейшие и т. п.)¹⁷⁹. «Старцы», «старосты», «нарочитые мужи» и т. п. обозначения, которые встречаются в древнерусских источниках, при всей их неопределённости и даже, возможно, «книжно-литературном» происхождении (на чём делает акцент Горский) не были бессодержательны и в некоторых случаях указывали на эту элиту (ср. далее с. 215–217, 489–491). В своё время об этом совершенно справедливо писал Х. Ловмянский: можно согласиться, что термин «"старцы градские"» был литературного происхождения, из чего не вытекает, что он не отражал действительные атрибуты этой социальной категории»¹⁸⁰.

Внимание, которое продемонстрировали Свердлов и Горский к дружине, свойственно и многим другим работам по истории Древней Руси последних двух-трёх десятилетий. Правда, к сожалению, практически никто из авторов не считает нужным оговаривать, что он/она понимает под этим понятием/термином, и, как правило, «по умолчанию» подразумевается и институт «догосударственный», и знать древнерусского государства. Особенное внимание обращается на роль княжеских дружин в укреплении княжеской власти и образовании структур господства, то есть в «переходный период» от «племенных» общностей к государственно-территориальным образованиям. Е. А. Мельникова, указав на неадекватность понятия «военная демократия», предложила для характеристики этого «переходного периода» понятие *дружинное* государство¹⁸¹. Хотя сама исследовательница делала акцент не на дружине, а на международной торговле как главном факторе образования древнерусского государства, некоторые историки, опираясь, в частности, на работы Горского, считают возможным говорить о государстве на Руси в IX–XI вв. как «дружинном», предшествовавшем «феодальному»¹⁸².

Как эти историки, так и Мельникова, говоря о «дружинном государстве», совсем не имеют в виду *Gefolgschaftsstaat*, о котором писали Миттайс и Пласман в середине XX в. (см. выше). Подразумеваются разные вещи: в первом случае (Мельникова) – укрепление центральной власти при помощи военных групп в прямом подчинении носителя этой власти (князя), во втором (Миттайс) – особые отношения верности между правителем и его «подданными», выстроенные по подобию «дружинных» отношений.

* * *

Как уже было замечено выше, русскоязычная историография тоже не осталась в стороне от попыток привлечь этнологические/антропологические материалы и идеи для интерпретации славянской/древнерусской дружины. В нескольких работах развивается идея о

¹⁷⁹ Лукин 2010а.

¹⁸⁰ Ловмянский 1978, с. 97, 99 прим. 23.

¹⁸¹ Мельникова 1995, с. 22–23.

¹⁸² Котляр 1995, с. 45–47; Котляр 1998, с. 54, 129; Никольский 2003, с. 41. Автор последней из указанных работ пытается выявить также особое «дружинное право» по договорам руси и греков X в. и «Древнейшей Русской Правде» (там же, с. 25, 40–48). Ср. скорее скептическое отношение самого Горского к понятию дружинное государство: Горский 2004, с. 114. Ср. также попытку сравнения восточно- и западнославянских дружин X–XI вв. в работе: Шинаков 2003/2009, с. 288–298. Автор пытается уточнить понятие дружинное государство и находит образец такового в «среднеевропейской модели» государственного развития, которую предложили чешские учёные для описания чешского, польского и венгерского государств X–XII вв. (об этом см. ниже). По-видимому, автор (знакомый с работами этих учёных на русском языке, вышедших на рубеже 1980–1990-х гг.) основывается на том, что в модели придаётся важное значение так называемой «большой дружине» в ранний период развития этих государств в X в. Однако, как бы ни была важна эта «большая дружина», она была только относительно кратковременным эпизодом в истории западнославянских государств и, по мысли авторов «среднеевропейской модели», предшествовала этой последней и вовсе не была её частью. Сами эти авторы понятие дружинное государство никогда не используют.

дружине как «мужском союзе». Об этой идее уже заходила речь в связи с работой А. Кристенсен. Опираясь главным образом на фольклорные данные, авторы – в основном, этнологи – пытаются в таком духе интерпретировать известия летописей и других древнейших источников. Впервые идею о том, что древнерусская дружина была органически связана с «мужским союзом» (хотя и не тождественна ему), высказала Р. С. Липец в 1969 г.¹⁸³ Последовательно идею развил в серии статей В. Г. Балушок¹⁸⁴. В. М. Михайлин развивает мысль, что русский мат – «пёсья лая» – происходит из ритуальной лексики «воинского мужского союза, члены которого не только называли, но и считали себя псами/волками»¹⁸⁵.

В наиболее серьёзной работе этого направления, рассматривающей проблему с исторической точки зрения, автор (А. В. Коптев) пытается связать славянскую «княжескую дружину» с некими архаическими индоевропейскими «мужскими союзами», которые объединяли молодых мужчин, прошедших обряды инициации: «...княжеская дружина, значение которой существенно выросло в славянском обществе VI–IX вв., генетически впитала многие черты ритуала инициации. Находившиеся в "ином мире" члены союза иницируемых в общественном сознании, налитом мифологическими образами, рассматривались как волки-оборотни либо как слуги хтонического божества, представлявшего в образе Змея...» Сопоставляя известия арабских географов X в. и рассказы ПВЛ с данными былин и русских сказок, Коптев приходит к выводу, что древнерусская дружина представляла собой «мужской союз», только несколько видоизменённый «в условиях формирования государства»¹⁸⁶.

Несмотря на некоторые интересные наблюдения (ср. в главе III, с. 313), в целом аргументация и основные выводы Коптева представляются частью сильным преувеличением некоторых действительных явлений архаической славянской культуры, а частью — просто фантастикой. В поисках мифологических, ритуальных и религиозных корней и «архетипов» автор явно слишком увлекается и находит такие корни и в «господстве руссов над славянами», и в убийстве Игоря древлянами, и в среде княжеских отроков («иницируемой молодёжи») ... Например, наложницы князя Владимира Святославича интерпретируются как «составная часть его дружинной организации»: «девушки попадали в "мужской союз"» как своего рода «дань» с «местных общин», собираемая во время «полюдь». Пребывание девушки «у князя, олицетворявшего верховное божество, рассматривалось как аналогия мифа о Священном Браке между богами». «Налог девушками» «продолжал оставаться одной из форм, приспособившей древний обычай к необходимости удовлетворения сексуальных потребностей дружинников»¹⁸⁷.

Автор, пытаясь опереться на сравнительные данные и историографию германской дружины, напрасно выдаёт теорию «мужских союзов» общепризнанным достижением западной науки и признаёт доказанным тезис о «генетической связи дружины с "мужскими союзами"». Достаточно ознакомиться с энциклопедическими статьями «тайные союзы», «военные союзы» и «мужские союзы», которые обобщают результаты отдельных — на поверку далеко не многочисленных — исследований в этой области¹⁸⁸.

Как выясняется, в современной науке преобладает дифференцированный подход в оценке этого явления, действительно общего для многих (и не только индоевропейских)

¹⁸³ Липец 1969, с. 98–99.

¹⁸⁴ Балушок 1991; Балушок 1993; Балушок 1995; Балушок 1996.

¹⁸⁵ Михайлин 2005, с. 335 и след., особ. с. 404–410. Каковы корни этих «воинских мужских союзов», автор почему-то забыл указать. Поскольку мысль о происхождении русскогомата из тюркских языков он отмечает, приходится думать, что корни — древнеславянские или древнерусские.

¹⁸⁶ Коптев 2004, с. 15.

¹⁸⁷ Там же, с. 32–36.

¹⁸⁸ Timpe, Scheibelreiter, Daxelmüller 1998; Eggers, Ebel 2001; Meier 2001.

народов на до- или предгосударственной стадии развития. Из данных, относящихся к древним германцам, в таком духе можно интерпретировать известия о хаттах и гариях Тацита (главы 31 и 43 «Germania»), известия о «пёсеголовых» воинах лангобардов Павла Диакона, скандинавских берсерках и некоторые другие. У этих воинских объединений, действительно, прослеживаются отличительные признаки религиозно-мифологического характера; но важно, что у разных объединений – разные признаки: например, у одних это может быть отдельный тотем, у других – особые обряды инициации, отдельный культ предков или бога Одина, половозрастные ограничения и т. д. Однако эти данные слишком разрозненны и неоднородны и позволяют говорить лишь о «структурно обусловленных параллелях», фиксируемых у разных народов, но недостаточных для того, чтобы утверждать «всемирно-историческое» значение явления. Признавая, что в отдельных случаях объединения типа «мужских союзов» могли пересекаться с военно-дружинной организацией, авторы указанных статей всё же настаивают на их принципиально разных сущности и происхождении. Достаточно указать на данные, свидетельствующие, что дружинные объединения существовали параллельно с «мужскими союзами». Так, приводится пример из саги о Хрольве Краки (Жердинке), где рассказывается об одном объединении берсерков, которые называли себя «волками», но при этом говорится о них отдельно от дружинников конунга («каррай» vs. «hirdmenn»)¹⁸⁹. Уже в 1985 г. Ганс Шульце относил теорию о происхождении германской дружины «из более древних форм военных или культовых мужских союзов» к «старым воззрениям»¹⁹⁰. М. Энрайт и Й. Базельманс всерьёз теорию «мужских союзов» не воспринимают¹⁹¹.

* * *

По сравнению с русскоязычной литературой во многом иначе развивались взгляды относительно «славянских дружин» в польской и чешской историографиях. Немецкие историки Ostforschung или Ostkunde первой половины – середины XX в., если вообще говорили о дружинах, то в рамках уже сложившихся схем. Отмечу лишь две попытки сравнения германской и древнерусской дружин в немецкой историографии, а затем обращусь к работам чешских и польских историков.

Манфред Хельман в серии статей 1950-х гг. пытался оценить главные черты общественного строя средневековой Руси в свете «вопроса о русском феодализме» и построенный немецкими историками школы *Verfassungsgeschichte*. Хельман настаивал на своеобразии общественных отношений на Руси и лишь относительно поздней их некоторой частичной «феодализации». В частности, отличной от германской он считал и древнерусскую дружину, исходя из тезиса о германской верности. По его мнению, если на ранних этапах русской истории и обнаруживаются какие-то следы принципа верности в отношениях между князем и дружиной, то это лишь отголоски того влияния, которое на Русь принесли скандинавы, и в любом случае они быстро исчезают. Характерной же для восточного славянства была «добровольная служба», покоившаяся только на материальной заинтересованности сторон. Позднее на Руси эта служба стала обязательной, и возросло «принуждение к подчинению и послушанию» правителю¹⁹². В славянских странах не сложилось политически активной и

¹⁸⁹ Eggers, Ebel 2001, с. 346.

¹⁹⁰ Schulze 1985/1995, с. 52.

¹⁹¹ Энрайт, например, отмечал, что «мужские союзы» связаны с племенным родством и не предполагают резкого отделения военной организации от племенной (Enright 1996, с. 105, 203).

¹⁹² Hellmann 1958, с. 328–332; Hellmann 1960, с. 242–247.

экономически независимой знати со своим самосознанием¹⁹³. Не находя в позднесредневековой Руси ни ленов, ни иммунитета и выделяя кормление как основную форму вознаграждения служилых людей, Хельман видит перерождение дружинных отношений при московском единодержавии не в феодальные, а в «очень своеобразные и характерные формы служебного права»¹⁹⁴.

По-видимому, вследствие того, что Хельман ориентировался на традицию *Verfassungsgeschichte*, многие положения которой позднее были пересмотрены или отброшены, современные немецкие исследователи, касающиеся древнерусской дружины, скорее критически воспринимают его выводы. Уве Хальбах смотрит на древнерусскую дружину, опираясь, главным образом, на воззрения А. Е. Преснякова. Хартмут Рюсс, отвергая тезис о «вольной боярской службе», именно верность полагает основанием отношений князя и знати в средневековой Руси и считает возможным возводить её к общеславянским корням¹⁹⁵.

Кристиан Любке в книге о «чужаках» (*Fremden*) в раннегосударственных образованиях на территории Восточной Европы в IX–XI вв. решительно отвергает идею «германской верности» и считает, что о «дружине» (это понятие он использует в кавычках) позволяют говорить только прямые указания источников на «"группу", члены которой осознают принадлежность к ней как свою идентичность, а себя самих преимущественно как воинов на службе, доставляющей им материальный достаток»¹⁹⁶.

Любке, таким образом, делает акцент на групповой «солидарности» и самоидентификации и понимает дружину скорее в «узком смысле». Теоретически такой подход может быть в каких-то случаях и полезен, поскольку позволяет более чётко обозначить явление, покрываемое понятием *дружина* (поэтому, например, Любке выводит за рамки этого явления «большую дружину», о которой писал Ф. Граус, – см. чуть ниже¹⁹⁷). Но с другой стороны, оказывается, что автору очень трудно применить этот подход на конкретных данных – ведь в источниках до периода позднего средневековья мы практически не располагаем свидетельствами, ясно отражающими социально-политическую самоидентификацию групп и отдельных личностей. Источники просто не позволяют автору осветить тот вопрос, который он сам поставил как центральный, подчёркивая важность самоидентификации, – что же объединяло членов дружины между собой и отделяло их от остальных. И в итоге так и остаётся неясным, например, от чего зависело восприятие того или иного пришлого человека (чужака) как человека, особым образом связанного с правителем (князем), или как наёмника.

Странно что Любке, хотя рассматривает «дружинные» объединения на широком сравнительно-историческом фоне, отдаёт дань старым представлениям. Так, даже не обсуждая возможность, что аналогии между дружинами у германцев и на Руси могут быть структурно обусловлены, историк высказывается в пользу скандинавского влияния.

Это влияние он усматривает и в формировании на Руси «дружинной идеологии» (а что это за «идеология», не объясняется)¹⁹⁸, и в распространении здесь полюдь (вслед скандинавской вейцле), и в утверждении своеобразной формы сеньората¹⁹⁹.

¹⁹³ Hellmann 1954, с. 404

¹⁹⁴ Hellmann 1960, с. 258.

¹⁹⁵ Halbach 1985, с. 95 и след; Rüß 1994, с. 275.

¹⁹⁶ Lübke 2001, с. 261: «daß es um eine „Gruppe“ geht, die identitätsstiftend wirkt, wobei die Mitglieder ihr Selbstverständnis ganz überwiegend aus dem Dienst mit der Waffe beziehen, der ihnen zugleich ihren Lebensunterhalt sichert». Автор предлагает ценный обзор данных с учётом современной историографии о «дружинных» объединениях у франков и саксов, скандинавов, славян, венгров, кочевых народов причерноморских и среднерусских степей, а также о скандинавах на службе византийских императоров в IX–XI вв. – там же, с. 261–325.

¹⁹⁷ Там же, с. 321.

¹⁹⁸ «Eine Gefolgschaftsideologie, wie sie in der Ruß als Folge des steten Zusammenhangs mit den nordischen Gesellschaften entstand» (там же, с. 314).

¹⁹⁹ Там же, с. 300–310.

Значительно более плодотворным оказалось восприятие импульсов из дискуссий о германской дружине применительно к славянским материалам в чешской и польской историографии. Приблизительно до середины XX в. польские и чешские историки, в общем вполне традиционно, выражались в том смысле, что надо предполагать существование дружин у славян до IX в., опираясь на аналогии с германцами по Тациту. Повышение роли этих дружин связывали с немецким влиянием (у западных славян) и скандинавским (на Руси), но попыток связать с ними происхождение определённых форм государства, как это делали Пресняков («княжое право») или Павлов-Сильванский (перерастание дружинных отношений в феодальные) не предпринималось²⁰⁰. Однако, в послевоенное время появились публикации, обращающие внимание на важную, если не определяющую, роль дружин в образовании славянских государств и отрицающие при этом какое-либо внешнее воздействие²⁰¹.

Наиболее последовательно этот взгляд развил Ф. Граус, работы которого в связи с критикой теории «германской верности» уже упоминались выше. Опираясь на западноевропейские аналогии и критически оценивая немецкую историографию, Граус признал бесперспективным поиск некоей одной «славянской дружины» и исходил из множественности форм дружинных отношений²⁰². Вместе с тем, взяв за основу чешские и польские данные X–XI вв. (главным образом, латинские и славянские жития св. Вацлава-Вячеслава), он предложил схему развития дружин у чехов и поляков: четыре типа дружин, сменяющих друг друга. Первый – это «дружины древнего типа», «малые», в сущности, военно-грабительские банды. Для обозначения второго типа он использует термин, предложенный Шлезингером, – *Gefolgsheer*, «дружинное войско»: нечто вроде войска-ополчения, которое было характерно для «племён», вовлечённых в масштабные миграции (эпоха Великого переселения, славянское расселение). Третий тип он называет «большой» или «государственной дружиной» (по-чешски: *velkodružina*, в публикации Грауса на немецком языке – *Staatsgefolge*²⁰³). Это – сравнительно крупные военные объединения, которые фактически охватывали всю или большую часть элиты и которые использовали польские и чешские правители в X – первой половине XI вв. для утверждения своей власти и управления подчинёнными территориями. Четвёртый тип выделяется для периода XI–XII вв., когда «большая дружина» «феодализируется», то есть из неё выделяется знать, которая приобретает земельные владения и доминирующие позиции, и следы дружинных отношений остаются лишь отчасти в среде низшей знати, отчасти в мелких частных свитах и клиентах²⁰⁴.

Основное внимание он уделял этой «большой дружине», считая, что чехи называли её собственно словом *дружина* и в этом случае оно может рассматриваться как *terminus technicus*²⁰⁵. С ней он связывал успехи в развитии древнечешского государства в X в., в том числе завоевательные. Указывая на «дружинника» князя Вячеслава Подивена, Граус считал, что эта дружина крепилась на принципе «верная служба за дары и отличия», и не видел никакой необходимости предполагать связь с «германской верностью»²⁰⁶.

Именно это понятие *velkodružina*, наиболее разработанное Граусом, прочно вошло в чешскую историографию. Более спорным оказался его тезис о «феодализации дружины» – по той же причине, по которой не выдержала критики теория Грекова: данных о крупном землевладении, тем более на ленном праве, нет и на чешском материале вплоть до середины

²⁰⁰ Ср., например: Нидерле 1956/2000, с. 406–407.

²⁰¹ См., например: Vaněček 1949.

²⁰² Graus 1965a, ср. на с. 13 критику описанных выше взглядов Хельмана.

²⁰³ Graus 1965h, с. 39–46.

²⁰⁴ Graus 1965a, с. 4–5 и след.

²⁰⁵ Там же, с. 8.

²⁰⁶ Там же, с. 9–10, 14.

– конца XII в. Также трудно доказуемым является его тезис об уничтожении старой («племенной») знати правителями, опиравшимися на свои «большие дружины». Такую сознательную политику Граус приписывал князю Болеславу II, искоренившему род Славнивовцев, а знать XI в. он считал новой, вышедшей из «разлагавшейся» «большой дружины»²⁰⁷. На самом деле, это чисто гипотетическая конструкция, и данных, чтобы рассуждать о континуитете/дисконтинуитете древнечешской знати, просто нет²⁰⁸.

Чешские учёные Д. Тржештик и Й. Жемличка, в работах которых наиболее последовательно изложена «среднеевропейская (центральноевропейская) модель» ранних славянских государств XI–XII вв., принимают понятие *velkodružina*²⁰⁹. При этом уточняется, что содержание «большой дружины» было весьма обременительным и окупалось только в условиях постоянных внешних завоеваний, способных обеспечить многочисленное объединение профессиональных воинов. Такая система мобилизации и распределения ресурсов называется иногда «трибутарной» (от латинского слова *tributum* – "дань")²¹⁰. Как только возможности завоеваний были исчерпаны, должен был последовать кризис этой системы, а следовательно, и всего государства. Этот кризис Тржештик и Жемличка вслед за Барбарой Кжеменьской видят в смутах начала XI в. в Чехии и чуть позже в Польше и Венгрии²¹¹. В результате этого кризиса, по мнению чешских учёных, и образовалась «среднеевропейская модель». Главными элементами этой модели были: существование элиты (которая образовалась в результате «глубокой системной трансформации» «большой дружины»²¹²) не за счёт частного землевладения, а за счёт участия в сборе и потреблении «государственных» доходов, то есть поборов и налогов со свободного населения в пользу князя; «градская организация» – управление территорией через княжеских людей (чиновников), «базирующихся» в укрепленных поселениях; «служебная организация» – сеть поселений, население которых выполняло специализированные работы по удовлетворению потребностей княжеского (королевского) двора; *jus ducale* – «княжеское право», то есть сфера права, в которой жило большинство населения, формально под юрисдикцией правителя (князя/короля), а фактически во многом автономно внутри локальных «общин»–«волостей» («ополья»). Падение этой системы относят к XIII в., когда удельный вес частного землевладения, защищенного иммунитетом, в социально-экономической сфере становится преобладающим и сказывается сильное влияние из Западной и Центральной Европы (привносятся элементы вассально-ленных отношений, начинается немецкая колонизация и т. д.)²¹³.

²⁰⁷ Graus 1968, с. 207–209.

²⁰⁸ Ср.: Kalhous 2005.

²⁰⁹ Одна из последних публикаций, где учёные изложили своё видение этой «модели» – критический отзыв на работы Либора Яна: Třeštík, Žemlička 2007. Здесь же см. полный список работ польских и чешских авторов, внесших вклад в разработку «модели»: с. 122–124. См. также на немецком языке: Krzemieńska, Třeštík 1979 (одна из первых работ, в которых представлена «среднеевропейская модель»), Žemlička 1995; Žemlička 2000. На русском языке в статьях: Тржештик 1987 (здесь, правда, автор не говорит о «большой дружине» и очерчивает только главные контуры «модели»); Жемличка, Марсина 1991 (о «государственной дружине» говорится на с. 168).

²¹⁰ См.: Першиц 1986а.

²¹¹ Krzemieńska 1970; Жемличка, Марсина 1991, с. 169; Žemlička 1995; Žemlička 1997, с. 50–51; Třeštík 2001, с. 128.

²¹² Žemlička 1997, с. 141. В этой работе Жемличка для обозначения высшего социального слоя Чешского государства XI–XII вв. использует такие слова как «элита», «ранняя шляхта», «вельможи» и «nobiles». В более ранней работе на русском языке он писал о «группе, которую мы бы могли назвать дружинной аристократией, нобилитетом или раннефеодальным дворянством», а также «слой “благородных”», «вельможи» (Жемличка, Марсина 1991, с. 170, 172). Позднее слова «дружинный» и «(ранне)феодальный» уже чешскими учёными не употреблялись, см., например: Třeštík, Žemlička 2007, *passim*.

²¹³ В последние годы «среднеевропейская модель» подверглась критике со стороны ряда чешских историков. В частности, высказывались сомнения в существовании «большой дружины» и вообще применимости понятия дружины к Чехии, подчёркивалась значительная роль знати и независимость её от правителя и раздаваемых им должностей в Чехии в XI–XII вв. и др., см., например, статьи Мартина Виходы, Либора Яна и Вратислава Ваничека в интересном сборнике, посвящённом чешской и польской средневековой знати: Jan 2007, особ. с. 51–52, Vaníček 2007, особ. с. 164, Wihoda 2007, особ. с. 17–26.

В польской историографии взгляды Грауса и «среднеевропейская модель» в общем воспринимаются сочувственно, тем более что польские учёные внесли значительный вклад в построение этой «модели»²¹⁴. Идея о «большой дружине» хорошо объясняет сообщение из известного рассказа арабо-еврейского путешественника Ибрагима ибн Якуба о трёх тысячах воинов польского князя Мешка I. Польские историки сопоставляют с этим сообщением известие о войске Болеслава Храброго (сына Мешка) из хроники Галла Анонима (см. об этих данных в главе III)²¹⁵. Некоторые видят в этих данных свидетельство того, что «большая дружина» размещалась по городам (как бы гарнизонами). Для обозначения такой размещённой по городам дружины в польской историографии используется термины *družyna rozproszona* или *rozlokowana* («рассеянная») или *dalsza* («дальняя»). Собственно дружину как узкий круг людей, состоящих на службе вождя, князя или магната, называют *družyna przyboczna* или *ścisła* («личная») – то есть речь идёт о «классической» «домашней» дружине. Обычно считается, что она была известна у славян на до-государственном этапе и сохранялась после распада «большой дружины» к середине XI в. ещё в течение второй половины XI–XII в.²¹⁶

Мысль о размещении княжеской дружины по городам развивается в двух работах польских историков, исследующих специально данные древнерусских источников, в первую очередь ПВЛ. Тадеуш Василевский относил это размещение к концу X–XI вв. и пытался проследить по археологическим данным. Согласно его выводу, киевские князья размещали дружинные «заставы» в крепостях главным образом к западу и югу от Киева на правобережье Днепра²¹⁷. Василевский также предложил, отмечая многозначное и разнообразное употребление слова *дружина* в летописи, понимать под ней как «научным термином» собственно окружение князя, то есть *družyna przyboczna*. Такую дружину в Киевской Руси он видел в гридях и других категориях населения, которых часто историки включают в «младшую дружину»²¹⁸. Менее интересен по подходу и выводам обзор данных о военной организации Киевской Руси, который предлагает Казимир Скальский. Историк следует летописной терминологии и опирается во многом на существующую литературу (среди польских авторов, главным образом, на работы Х. Ловмянского – ср. ниже, среди русскоязычных – на работы Е. А. Мельниковой и В. Я. Петрухина). Хотя Скальский довольно много места уделяет обсуждению разных летописных обозначений для людей на княжеской службе – отроки, чадь, кметы, младшая и старшая дружина и др., – удивительным образом ему оказалась неизвестна книга А. А. Горского, посвященная именно этому предмету²¹⁹. Историк

²¹⁴ Разработке «модели» во многом способствовали работы Кароля Модзелевского, см. особенно его книгу: Modzelewski 1987. На польских материалах хорошо прослеживаются «служебная организация», *jus ducale* и «градская организация». Вместе с тем, в польской историографии не был поддержан важный тезис теории «среднеевропейской модели», предполагающий, что эта «модель» восходит через Великую Моравию к каролингским институтам. Ведь если применительно к Чехии и Венгрии ещё можно как-то говорить о «каролингском наследстве», то к Польше – это абсурдно. Очевидно, этот тезис – одно из самых слабых звеньев теории Тржештика и Жемлички. Этот тезис не был поддержан и археологами, которые не увидели следов какого-либо из элементов «среднеевропейской модели» в раскопанных поселениях Великой Моравии, см.: Macháček 2008.

²¹⁵ Идея «большой дружины» принимается, например, уже в работе: Bardach 1968, с. 296–297. Обзор польской литературы по поводу возможности применения понятия «большая дружина» к Польше см. в одной из последних работ: Jurek 2007, с. 70.

²¹⁶ См., например, относительно недавние работы: Labuda 1993; Skalski 1998; Woqacki 2007. Как и в чешской историографии, в польской в последнее время высказываются сомнения в применимости понятия дружины к социальным и военным институтам и общностям средневековой Польши – см., например: Ginter 2002, особ. с. 66, 72–73. Суждения польских историков, начиная с конца XIX в., по военно-социальному устройству Польши XI–XII вв. подробно представлены в указанных работах Михала Богацкого и Кароля Гинтера.

²¹⁷ Wasilewski 1958, с. 308 и след.

²¹⁸ Wasilewski 1958, с. 307, 351–352.

²¹⁹ Горский 1989.

полагает, что на Руси размещение дружины по городам, как и в Польше и Чехии, послужило началом процесса «оседания дружинников» и что этот процесс завершился в течение XI в.²²⁰

Особо следует отметить фундаментальный труд «Начала Польши» Хенрика Ловмянского, в котором автор предложил оригинальный подход к пониманию роли и эволюции дружины у славян. Ловмянский также отводил дружинам определённую роль в процессе образования государства у славян, однако, в отличие от Грауса, польский учёный строго и последовательно различал служебные отношения, с одной стороны, в рамках собственно дружины и, с другой – между вождём/правителем и знатью («рыцарством»). В первом случае эти отношения носили отпечаток подчинения и зависимости, во втором – имели более равноправный договорно-«вассальный» характер²²¹.

Опираясь на историографию германской дружины, Ловмянский присоединяется к тем, кто не считал дружину специфически германским явлением, и даёт ей своё определение «в классическом понимании», ориентируясь на тацитовское описание. Дружина, по его мнению, должна была иметь четыре черты: 1) «функциональную, выражавшуюся в военной деятельности»; 2) «экономическую» – обеспечение дружинников вождём; 3) «организационную, вытекавшую из постоянной готовности к войне по приказу вождя»; 4) «идеологическую» – «верность или искренняя преданность» дружинников друг другу и вождю и забота и покровительство над ними со стороны вождя. Понимание дружины, предложенное Шлезингером, Ловмянский отверг как неоправданно широкое. Его собственное определение дружины – конечно, значительно более конкретное и «узкое» – давало ему возможность отвести ей весьма ограниченное место в судьбе германских и славянских народов и перенести акцент именно на «вассальную службу» «рыцарства», которая, по мнению польского историка, «развивалась одновременно другим путём, независимым от дружины». «На славянской почве» эти «вассальные» отношения Ловмянский видел как «военную службу, выполняемую на основе добровольного соглашения, однако без вступления в собственную дружину, предполагающую "домашнюю общность" с предводителем». С обзаведением дружинников собственным имуществом, прежде всего землями, начинался процесс «дезинтеграции» дружины, которая «растворялась в общем явлении вассалитета»²²².

Более или менее гипотетически расцвет дружины у славян Ловмянский относил к VI в., а в более позднее время наблюдал уже «дезинтеграцию». В отличие от Грауса, он усматривал в чешских и польских источниках X в. не свидетельства о «большой дружине», а отражение «вассально-рыцарской» службы и допускал лишь какие-то слабые следы небольших собственных княжеских дружин (*družyn przybocznych*). «Дезинтеграцией» и поглощением дружины «вассалитетом» историк объяснял многозначность и неопределённость древнерусского слова *дружина*.

Подробно разбирая древнерусские данные, Ловмянский поддержал мысль Василевского, заключая, что собственно институт дружины представляли лишь относительно небольшие группы гридей/отроков в непосредственном окружении князей, а служба бояр и прочих вольных людей была «вассалитетом». Образование и укрепление государственной власти, а позднее безопасность государства зависели как раз не столько от этих «домашних» дружин «отроков», сколько от «вассальной» службы знати (а также традиционно сохранявшего значение «народного ополчения») ²²³. В конце концов, Ловмянский признаёт «рыцарей»-«вассалов» древних славянских государств за носителей феодального начала, которое

²²⁰ Skalski 2006, с. 342–347.

²²¹ Łowmiański Początki, 4, с. 163–164, ср. с. 166, прим. 474 с критикой Грауса именно за путаницу этих двух видов служебных отношений.

²²² Łowmiański Początki, 4, с. 165–170.

²²³ Там же, с. 170–178.

расцветает после окончательного исчезновения дружин приблизительно к XII в. Важным тезисом историка было утверждение преемственности знати (в том числе и генеалогической) от до-государственной эпохи к развитым славянским обществам XI–XII вв. (здесь тоже в явном несогласии с Граусом)²²⁴.

Нельзя не обратить внимания на то, что стремление польского учёного поставить институт дружины в довольно узкие рамки и вместе с тем подчеркнуть значение аристократии вполне соответствуют тому пониманию раннесредневекового общества, которое мы находим в работах западных медиевистов последних десятилетий. О дружинах, если и говорится, то как о явлении более или менее второстепенном.

Хотя не все польские историки настолько же скептически относятся к роли дружин (и в частности «больших дружин») в истории раннеславянских государств, как Ловмянский, в целом, в польской историографии *дружина* никогда не понимается в качестве организации всей элиты Пястовской Польши, и последовательно разделяются знать (магнаты-«можновладцы») и дружины как свиты или клиентелы в подчинении князя и отдельных представителей той же знати²²⁵. Попытки Василевского и Ловмянского применить такой же подход к древнерусским материалам представляют несомненный интерес, хотя, к сожалению, в русскоязычной историографии до сих пор не получили отклика. Менее удачным кажется обозначение, которое Ловмянский выбрал для этого высшего социального слоя (элиты) – «рыцари» и «вассалы». Применение этой «феодальной» терминологии едва ли уместно по отношению к ранним славянским политическим образованиям, и недаром оно не было поддержано в польской историографии. Возражения вызывает и тезис о преемственности знати славянских государств от «племенной аристократии», поскольку ясно, что складывание государственных структур и утверждение правящих династий – по крайней мере, в Польше, Чехии и на Руси – не шло гладко, а сопровождалось масштабными кризисами, применением насилия, уничтожением политических противников и т. д.²²⁶

Недавно вышла книга польского историка Павла Жмудзкого, построенная отчасти на данных ПВЛ²²⁷. Хотя заглавие книги обещает сравнение «древнейшей историографии Польши и Руси», на самом деле речь всё-таки больше идёт о хронике Галла Анонима, и русское летописание – почти исключительно ПВЛ – привлекается для сравнения, в общем, наравне с хроникой Козьмы Пращского и отдельными западноевропейскими произведениями историографического жанра. Кроме того, автор практически не затрагивает проблемы летописной текстологии и фактически рассматривает ПВЛ как цельное произведение (что одно само по себе, конечно, ставит под большой вопрос все его изыскания). Его подход лежит в русле направления, набравшего силу в последние десятилетия в медиевистике, которое сомневается в возможности познать реалии прошлого и делает акцент на изучении текстов как таковых (это направление называют по-разному, часто условно: «герменевтика», «нарратология», «постмодернизм» и т. д.).

Жмудзки с самого начала заявляет, что его интересует не историческая реальность, а лишь «нарратив», то есть сюжеты, фабулы, способы изложения, стереотипы и конструкции, которыми описывалась эта реальность в хрониках и летописях. И автор в самом деле выделяет некоторые мотивы и «топосы», общие для разных историографических памятников, – например, образ идеального правителя-воина и отрицательного («тирана»), выделе-

²²⁴ Этот тезис Ловмянский развивал и в небольшой статье на русском языке о древнерусских старцах-старостах и боярах: Ловмянский 1978, особ. с. 96.

²²⁵ См., например, статьи «Drużyny» и «Możni» в *Słownik starożytności słowiańskich* (тт. 1 и 3) и разделы «Możnowładztwo» и «Drużyna i kler» Б. Зентары в обзорно-энциклопедическом издании по социальной истории Польши: Zientara 1988, с. 42–50.

²²⁶ См., например: Labuda 1989, с. 57–60.

²²⁷ Żmudzki 2009.

ние молодых воинов-храбрецов в окружении правителя (*juvenes*), шаблоны в описании военных действий и др. Но в каком отношении описанные автором нарративные стратегии и конструкции находятся с действительными явлениями, он решительно отказывается судить. «Нарративный и компаративный анализ (предпринятый автором – П. С.) текстов источников не опровергает реконструкций прошлого, предложенных историками, но и не подтверждает их». В нарративных источниках автор отказывается увидеть разницу между дружинами древности и эпохи ранних славянских государств, дифференцировать разные виды дружин и их эволюцию и т. д. По его мнению, «образ "*comitatus*" в четырнадцатой главе *Germania* построен из тех же самых элементов, какими представлены группы людей, близких к правителю, в ПВЛ или у Галла Анонима»; «сочинение Анонима и ПВЛ, представляя приближённых правителя, принадлежат к тому же самому кругу идей, что и известие Ибрагима ибн Якуба/ал-Бакри о государстве Мешка, описание германских обычаев, данное Тацитом, или заметки Аммиана Марцеллина о разных типах варваров»²²⁸. Вся эта литература – лишь набор общих мест и шаблонов, за которыми распознать реальность невозможно.

Опыт рассмотрения данных о вожде или правителе и его окружении в таком ключе в каком-то смысле поучителен, но автор этих строк исходит из «традиционной» точки зрения, утверждающей, что памятники литературы и историографии стоят в тесной связи с историческими условиями, в которых они были созданы, и в той или иной мере, тем или иным образом отражают эти условия. Нет необходимости в данном случае специально защищать эту точку зрения, поскольку за последние десятилетия в исторической науке, в том числе и в медиевистике, уже накопилось немало примеров полемики между «постмодернистами» и «традиционалистами»²²⁹. Отмечу только, что в самой польской историографии преобладают, в целом, всё-таки подходы, отличающиеся от идей П. Жмудзкого. В частности, известный польский историк Кароль Модзелевский на тех же приблизительно материалах – нарративные памятники XI–XIII вв. Центральной Европы – пришёл к заключению, что совсем не обязательно отказывать в исторической ценности свидетельствам «литературного» происхождения, если понять, во-первых, историко-культурный контекст их создания, а во-вторых, сравнить их с данными из источников другого рода, в том числе совершенно независимых (например, археологическими данными, юридическими памятниками, свидетельствами иностранцев, сохранившимися в другой культурной традиции, и т. д.), или с аналогичными явлениями в других обществах и культурах²³⁰. Разумеется, никто не будет сегодня отрицать роли литературных установок, наличия «бродячих топосов» и т. п. и защищать наивное использование свидетельств античных и средневековых писателей как «непосредственного отражения» действительности. Но надо отдавать себе отчёт в том, что пессимистично-безысходный нигилизм в оценке этих свидетельств ставит под вопрос сами гносеологические основы исторической науки²³¹.

²²⁸ Żmudzki 2009, с. 460, 463, 464–465.

²²⁹ См. опыт «постмодернистского» подхода на русском языке применительно к Древней Руси: Вилкул 2007/2009 и критическую рецензию на эту работу под характерным заглавием «Деконструкция деконструкции»: Лукин 2008б. Ср. выше критику Р. Венкуса на статью Д. Тимпе.

²³⁰ Modzelewski 2004, главы I и II.

²³¹ Надо отметить, что такого рода нигилизм последовательно выразился лишь в указанной книге П. Жмудзкого. В более ранних работах он всё-таки не отказывался от возможности увидеть в нарративах реальность. Так, в статье 2005 г. интересный анализ известия Ибрагима ибн Якуба о «воинах» Мешка I не дал повода Жмудзкому усомниться ни в «историчности» «военного объединения, организованного Мешком», ни в том, что оно на самом деле «функционировало согласно принципам, описанным Ибрагимом ибн Якубом» (Żmudzki 2005, с. 126). Ср. в книге: «подробности описания Мешковой дружины, рассмотренные вне [нарративной] структуры, которую оно выстраивает, не имеют информативной ценности» (Żmudzki 2009, с. 385).

Выводы

Как видно из обзора, одного общепринятого понятия или концепта дружины в современной историографии не существует, хотя попытки его разработать предпринимались. Одна из наиболее интересных и последовательных попыток такого рода состоялась в немецкой историографии середины XX в. в связи с отказом от взгляда, принятого в XIX в., на древнее «племенное» общество германцев как «демократию». Вместо «германской свободы» была выдвинута идея «господства знати». Вместе с пересмотром подходов *Verfassungsgeschichte* во второй половине XX в. были внесены определённые коррективы в эту идею, но в целом она сохраняет значение и в настоящее время. Для современной историографии характерны оценки в духе высказываний В. Рёзенера: «...знать и формы её господства (seine Herrschaftsformen) были в числе сущностных структурных элементов общества старой Европы на протяжении более тысячи лет... Господство знати было больше чем просто система принуждения и эксплуатации; это был скорее строй господства (Herrschaftsordnung), который носил глубокий отпечаток патернализма и породил собственную культуру, находившую выражение в отличительных символических формах (eine eigene Kultur mit vornehmlich symbolischen Ausdrucksformen)»²³².

Немецкие учёные, разрабатывавшие модель «господства знати», – прежде всего В. Шлезингер и Р. Венкус – придавали большое значение дружине в этнических процессах и государствообразовании, но в их трактовке понятие расплылось. Добровольность и верность, по Шлезингеру, служба-поддержка с эмоциональной связью, по Венкусу, – под эти критерии можно подвести практически любые взаимоотношения между людьми. Не случайно, довольно быстро было указано на «границы» понятия дружины. Как и со многими другими понятиями, – например, феодализма – выяснилось, что при расширительном его использовании оно в конце концов утрачивает конкретно-историческое содержание, а также инструментальную и познавательную ценность. Формы клиентельно-покровительственных отношений, подразумевающих добровольность и эмоциональную связь, известны в самых разных культурах от архаических до современных и могут быть очень разнообразны²³³. В этом спектре понятие дружины тонет и теряется.

Естественным на этом фоне выглядит скепсис в отношении понятия дружины. Роль дружины в становлении форм господства или государствообразовании теперь расценивается далеко не столь высоко, как раньше. Сегодня едва ли кто-то в западной историографии станет говорить о «дружинном государстве» (в каком бы то ни было смысле). Характерно, что в недавних объёмных сборниках работ авторитетных специалистов по раннему Средневековью на тему «Государство в раннее Средневековье» говорится о чём угодно, но только не о дружинах²³⁴.

Вместе с тем, в этом скепсисе явно ощущается некоторая предубеждённость. Многочисленные исследования, в том числе не только исторические, но и лингвистические, и даже отчасти археологические, всё-таки не дают повода сомневаться вообще в наличии в древней Европе неких групп, объединённых военной деятельностью и особыми целями и даже идеалами. Даже самые крайние «постмодернисты» признают, что эти группы не являются абстрактной выдумкой учёных Нового времени и что об их существовании имеются соответствующие свидетельства в античной и средневековой литературе. Понимая это и опасаясь как бы «с водой не выкинуть и ребёнка», некоторые учёные пошли по пути более чёткого

²³² Rösener 1999, с. 30–31. Ср. также: Werner 1994/1999, особ. с. 132. Ср. также: Reuter 2000.

²³³ См., например, обзор такого рода отношений в разных культурах: Eisenstadt, Roniger 1984.

²³⁴ Staat im frühen Mittelalter 2006; Der frühmittelalterliche Staat 2009

определения дружины. Оставить за этим понятием более узкое, зато более ясное и конкретное значение – такой подход позволяет сохранить за ним эвристическую ценность.

Однако формулировка этого «узкого» определения оказалась тоже делом нелёгким. Мнения учёных, решившихся на такие формулировки, расходятся (ср., например, определения дружины Г. Куна, Д. Тимпе и Х. Ловмянского). Призывы дать определения, опираясь на самоидентификацию членов этих групп, к сожалению, едва ли помогут. В источниках раннего Средневековья, с которыми приходится иметь дело, самоидентификация людей либо вообще не отражается, либо в самой общей форме (вроде «мы от рода русского», как в договорах руси и греков X в.). Трудности во многом связаны с тем, что данные в нашем распоряжении отрывочны и слишком разнородного происхождения – из разных эпох, регионов и т. д.

Видимо, правы те учёные, которые не отвергают понятия дружины, но уклоняются от точных определений и говорят об «объединениях дружинного типа» и т. п., понимая под этим нечто близкое к тацитовскому описанию и имея в виду именно архаические общества. В основе этих объединений лежала бытовая близость вождя и членов группы между собой или «домашний союз», а целью их была военно-грабительская деятельность. Труднее понять и определить, как сочетались иерархические отношения, которые возникали внутри этих групп, с идеалами «товарищества». Некоторые подходы к решению этой проблемы кажутся интересными и эффективными (ср., например, модель *Vorranggesellschaft*, предложенную Р. Венкусом), но и они решают далеко не все трудности (ср., например, дискуссию об идеале смерти дружинника со своим вождём). Во всяком случае, эта дружина «в собственном (узком, научном) смысле слова» распадается или кардинально перерождается тогда, когда размытые и неустойчивые иерархические отношения, ещё не подавившие уравнилельные принципы и представления, начинают укрепляться и стабилизироваться (и это, собственно говоря, соответствует развитию государственных структур, разделению сфер «публичного» и «частного» права и т. д.).

Антропологически ориентированные исследования, которым специально было уделено большое внимание в обзоре (работы Й. Базельманса и М. Энрайта), хорошо показывают, в каком контексте надо рассматривать архаические дружины – не развитых государственных форм, а архаических («примитивных», «первобытных») обществ. Эти модели, выстроенные с учётом материалов и достижений этнологии (антропологии), акцентируют всеобщую связь членов дружины и дух коллективизма. Именно в том, что в дружине горизонтальные связи всё-таки не менее важны или даже важнее, чем иерархические (служебные), состоит разница между клиентами и дружинниками (ср. концепцию Г. Куна). Патрон-клиент – это иерархическая зависимость, и отношения выстраиваются скорее *tête-à-tête*, дружина – это «товарищеский» этос, и первостепенное значение имеют групповые отношения. Конечно, здесь могли возникать разного рода смешанные и переходные формы, но всё-таки надо их различать как разные явления и, соответственно, понятия.

Возникновение дружин приходится, как правило, на момент контакта относительно менее развитого общества с более «цивилизованным» и богатым соседом. Вместе с тем, эти элементарные архаические формы могут латентно, на уровне частного общения или в маргинальной среде, существовать и в развитых обществах и актуализироваться в разные моменты исторического развития. Так, в русской истории дружинные черты можно различить в казачьих объединениях или бандитских «группировках», в том числе и в наше время. Но это всё маргинальные явления для обществ позднего Средневековья, Нового и Новейшего времени.

Ориентируясь на тацитовское описание, надо в то же время осознавать, что в нём отразились отдельные реалии, но далеко не полностью и совсем не обязательно в том сочетании, как это было в действительности у разных народов Европы в раннее и высокое Средневековье. Сравнить эту ситуацию можно с другим соотношением: реальная система связей пра-

вителя, знати и разного рода служебных категорий населения в Средние века и та модель вассалитета, которую дали средневековые февдисты и на которую ориентируются учёные, рассуждая о феодализме. Эта модель, конечно, охватила многие реальные явления и помогает их обобщить и осмыслить, но всё-таки на самом деле эти явления были гораздо разнообразнее политико-юридических определений и постановлений²³⁵. Как и всякие теоретические обобщения, модель Тацита может быть полезна, особенно для понимания того общества, к которому она относится, но только до некоторого предела – реальность оказывается всегда шире и многообразнее любых моделей.

Такая дружина (пусть и обозначенная только в общих чертах) – явление интернациональное, универсально-историческое, как подтверждают исследования этнологов²³⁶. Конечно, было бы наивно видеть в ней предмет социально-культурного «импорта», какой выставляли древнерусскую дружину некоторые учёные (М. П. Погодин, М. Хельманн), указывая на присутствие скандинавов на Руси. Едва ли могут подкрепить эти попытки предположения о заимствовании самого славянского слова *дружина* из германских языков²³⁷.

Эта «домашняя» дружина является элементарной общественной формой, которая может возникнуть независимо в разных местах на разных стадиях общественного развития. Исходить надо из того, что аналогии – вполне возможные, если учитывать именно этот элементарный характер явления, – обусловлены структурно, а не представляют результат заимствований. Заимствования, конечно, тоже нельзя исключать, но для них должны быть приведены конкретные и ясные доказательства (лексические заимствования, определённые исторические обстоятельства с контактами и т. д.).

Очерченное таким образом понятие дружины «в узком (научном) смысле» заставляет крайне осторожно и внимательно подходить к древнерусским источникам, которые часто говорят о «дружине». Ведь эти упоминания происходят из относительно более позднего времени, когда мы имеем дело уже с довольно сложными социальными и политическими (государственными) структурами и организационными механизмами. Между тем, дружина, как её предлагает понимать современная наука, представляя собой объединение «домашнего» или «товарищеского» характера, должна характеризоваться как явление архаичное, догосударственное – и в дальнейшем, употребляя слово *дружина* как научный термин, я буду иметь в виду именно это. Разрешить это противоречие, разобраться и попытаться осмыслить то, о чём говорит источник, в научных терминах и понятиях – задача следующих глав.

²³⁵ Именно в этом состоял пафос работы С. Рейнолдс, вызвавшей не так давно бурную дискуссию о феодализме (Reynolds 1994).

²³⁶ См., например: Hess 1977. Ср.: «дружина – универсально-исторический институт» (Дрэгер 1986, с. 53).

²³⁷ Так, Грин предполагал источник заимствования в древнегерманском *druhtiz (см. обсуждение вопроса с библиографией: Green D. 1998, с. 108–112). Однако, предположения такого рода не подтверждаются лингвистами. Если какая-то связь и была, то она восходит к древним индоевропейским корням с самым общим значением – «вести-следовать» (так у О. Н. Трубачёва: ЭССЯ, 5, с. 132) или «связывать-соединять» (так у Ф. Славского: Sławski 1982/1989, с. 62–64). Военные коннотации в словах, образовавшихся от этих корней, у германцев и славян появляются относительно поздно и независимо друг от друга.

Глава II

Древнее слово дружина

Историки уже давно и многократно отмечали неопределённость и широту значений древнерусского слова *дружина*. Однако при этом они находили возможным выделить некое специфическое значение для указания на княжеских служилых людей²³⁸. В начале XX в. М. А. Дьяконов писал: «в широком смысле дружиною называлось всякое большое или малое сообщество или товарищество. В этом смысле дружиною может быть названа совокупность населения». Но на следующей же странице он уточнял, что этим словом обозначалась и «княжеская дружина», которая представляла собой «совокупность ближайших сотрудников князя по делам государственного управления и домашнего хозяйства», и далее говорил только о ней²³⁹.

Современные историки придерживаются в точности такого же подхода. Признавая в вводных замечаниях широту семантики этого слова, они, приступая к описанию социального строя и военно-политической организации Древней Руси, исходят из того, что в большинстве летописных известий *дружина* выступала, по словам И. Я. Фроянова, в «специфическом или, если можно так выразиться, техническом значении ближайшего окружения князя, его помощников и соратников на войне и в мирных делах»²⁴⁰. М. Б. Свердлов, хотя кардинально расходится с Фрояновым в оценках общественного строя Древней Руси, тоже в начале указывает на «два направления» в семантике слова – «социально нейтральные указания различных социальных коллективов и разные виды объединений княжеских служилых людей», – но затем говорит о дружине только как о определённом «институте», а именно группе «служилых людей князя»²⁴¹.

Такой же оговоркой об узком и широком значениях слова А. А. Горский начинает специальную работу о древнерусской дружине. Но специального анализа семантики слова историк не предпринимает и лишь в конце работы, мельком, замечает, что в «техническом» смысле *дружиной* обозначалась «совокупность людей, близких князю», «в большинстве случаев, включая бояр», «реже» – исключая их²⁴². «Совокупность людей, близких князю», причём то с боярами, а то без них – это весьма неопределённый круг лиц. О какой именно «близости» идёт речь, автор не поясняет. Между тем, автор убеждён, что древнерусское слово *дружина* было «термином», а заключает работу выводом, что дружина в Древней Руси представляла собой «институт» или «организацию» «всего господствующего класса» и в то же время «корпорацию» княжеских «служилых людей»²⁴³. В итоге получается некий зазор или даже разрыв между семантикой древнего слова и научным понятием: автор признаёт, что даже в «узком» значении слово *дружина* указывало (да и то приблизительно) лишь на сферу занятости или проживания неких лиц («совокупность людей, близких князю»), а как научный термин он использует его во вполне определённом (можно сказать, социологическом) смысле для обозначения конкретной общественной группы и её институциональной организации.

²³⁸ См., например: Погодин Исследования, 3, с. 219, 7, с. 61–68; Соловьёв С. История, 1, с. 222; Порай-Кошиц 1874, с. 2–3; Сергеевич Древности, 1, с. 610.

²³⁹ Дьяконов 1907/2005, с. 75–76.

²⁴⁰ Фроянов 1980, с. 66, 71.

²⁴¹ Свердлов 2003, с. 262–264 и след., ср. с. 410–419, 531–540, 587–588 и др.

²⁴² Горский 1989, с. 80.

²⁴³ Там же, с. 82–83.

Фактически происходит следующее. Учёные употребляют слово древнего языка, обращая внимание, собственно, только на одну сферу его применения – в отношении некоего окружения князя, – и не слишком задумываясь о том, что в этом отношении интерес их, современных историографов, совершенно совпадает с интересом летописцев – историографов древности. В то же время, как признаётся в литературе, эта сфера не только часто чётко неотделена от других областей применения слова, но и сама довольно широка и расплывчата – ведь князь имел самых разных «соратников» и «помощников», от видного боярина до какого-нибудь дворового или вотчинного холопа, которые в реальности могли не иметь между собой ничего общего. Однако, уже определив это семантическое «поле», историки хотят видеть здесь за словом *дружина* «техническое значение», которое указывает на определённый институт или социальную группу. Затем, как бы само собой (замечания о многозначности забываются), происходит обратный поворот мысли, который уже никак не оговаривается, – приняв за аксиому, что институт или группа существовала и обозначалась словом *дружина*, историки уже за каждым упоминанием этого слова в связи с князьями (а то и без них) принимают «по умолчанию» именно этот «терминологический» смысл. Сомнения в правомерности такого подхода, высказанные некоторыми польскими историками, услышаны не были. Уже более полувека тому назад Т. Василевский совершенно справедливо указывал на то, что нельзя идти вслед словоупотреблению источников, а вначале «необходимо дать научное определение слову "дружина"»²⁴⁴. Позднее Х. Ловмянский отмечал, что интерпретации учёных, писавших о дружине в Древней Руси, «ограничены летописным понятием "дружина"», которое «непригодно» в качестве «критерия распознавания соответствующего института»²⁴⁵.

Однако, к сожалению, ни Василевский, ни Ловмянский не предприняли последовательного терминологического изучения ни летописных, ни других древнерусских источников, чтобы аргументировать свою позицию и выяснить, могло ли иметь древнее слово *дружина* хотя бы в каких-то отдельных случаях какое-либо «техническое» значение. О дружине писали А. С. Львов, Ф. П. Сороколетов и К. Р. Шмидт в специальных терминологических исследованиях, но их выводы строились на выборочных примерах и опирались во многом на принятые в историографии суждения (подробнее см. ниже). Вместе с тем, эти работы поставили вопрос о семантике слова в контекст старо- и церковнославянских памятников, и это требует теперь дополнительного изучения.

В последние годы в русскоязычной историографии всё яснее чувствуется необходимость переосмысления ключевых понятий, которые используются современными учёными и которые употреблялись в изучаемых ими источниках. В этом отношении наша историография следует общей тенденции мировой науки, которую называют «историей понятий» или *linguistic turn* и о которой говорилось уже в главе I.

В русле этой тенденции следует оценивать недавнюю работу Т. Л. Вилкул, которая, занимаясь древнерусским вечем, коснулась и дружины. Можно понять её критику распространённого подхода, который видит в источниках прямое отражение действительности. Слова, понятия и выражения древних источников рассматриваются как последовательная и устоявшаяся терминология, указывающая на правовые нормы, политические институты и социальные структуры. Скептически оценивая такой подход, Вилкул отмечает многозначность слова *дружина* и подборкой многочисленных примеров показывает, что оно употреблялось в источниках по отношению к разным группам населения²⁴⁶. Справедливо исследовательница призывает учитывать и сложносоставной характер наших летописей – основного

²⁴⁴ Wasilewski 1958, с. 305, ср. с. 387 в русском резюме.

²⁴⁵ Łowmiański Początki, 4, с. 171

²⁴⁶ Вилкул 2007/2009, с. 72–88.

«поставщика» социальной лексики. Однако, автор в критике предшествующей историографии и в отрицании вообще какой-либо возможности разглядеть реальность прошлого заходит явно слишком далеко.

Вилкул отказывается от каких-либо заключительных обобщений своих подборок упоминаний слова *дружина* в разных памятниках и летописях, но из отдельных её утверждений следует, что она вообще не видит в нём какое-либо реальное социальное содержание²⁴⁷. В её изложении слово расплывается совершенно и становится бесконечно полисемантическим, указывая просто на «любые виды социальных групп»²⁴⁸. Между тем, даже поверхностно ознакомившись с древнерусскими источниками и словарями древнерусского языка, легко убедиться, что слово *дружина* имело всё-таки определённые значения (пусть и не одно, а несколько, пусть и не очень точные и конкретные), а преимущественно было связано именно с князьями и военным контекстом, по крайней мере, в летописях.

Вилкул настойчиво подчёркивает, что то или иное слово или тот или иной термин имел общеславянское или заимствованное происхождение и употреблялся помимо летописей и документальных источников ещё в литературе, особенно переводной. Действительно, во многих терминологических работах на это обращалось недостаточное внимание, а летописи воспринимались не как явления литературного процесса, а словно прямое отражение устной речи. И в самом деле, словоупотребление отдельных авторов могло быть обусловлено в значительной мере литературными установками, а не общепринятым узусом. Но это не значит, что самого этого узуса не существовало и что нам не суждено определить его хотя бы в общих чертах. Впадая в «постмодернистский» пессимизм, Вилкул уже не считает нужным заниматься обычной «черновой» работой историка. Главное, чего она не делает и отсутствие чего ставит под сомнение все её выводы, — это простой анализ словоупотребления в каждом конкретном тексте с учётом его сохранности, происхождения, бытования, цели и смысла. Вместо этого предлагаются длинные списки упоминаний того или иного слова, встреченных автором в разнородных источниках, и обрывочные пояснения, смысл которых в конечном счёте сводится к одному — убедить читателя в том, что на самом деле всё это не имеет значения.

Таким образом, вопрос, который ставит исследование в этой главе, формулируется следующим образом: имело ли древнее слово *дружина* какое-либо узкое значение, которое можно понимать терминологически и использовать для научных определений?

Для выработки научного понятия необходимо, помимо учёта предложенных подходов и пониманий в историографии (этому посвящена глава I), разобраться в исходных значениях слова в древних источниках. Методика, которая применяется в настоящей работе, основана именно на изучении значений слова в каждом отдельном случае в конкретном контексте. Семантика слова *дружина* исследуется сначала по упоминаниям в старо- и церковнославянских текстах, а затем по древнейшим данным древнерусского летописания. В работе не только предпринимается последовательный анализ всех древнейших упоминаний слова *дружина*, но кроме того, впервые делается попытка провести этот анализ с учётом результатов текстологического изучения древнерусских летописей.

²⁴⁷ Так, Вилкул соглашается с мнением, что словом *дружина* могли называть «любые виды социальных групп» — «как насельников монастыря, так и банду разбойников» (Вилкул 2007/2009, с. 72); тут же она замечает, что проследить эволюцию значений слова в старославянских и древнерусских памятниках практически невозможно (с. 73); далее указывается на летописные формулы с этим словом, на то, что «частое использование его в летописных повестях XII в. не является показателем реального функционирования» (с. 87; о функционировании чего и где идёт речь, остаётся неясно) и что летописная терминология вообще «отражает не сложность социальных процессов, а сложную картину редактирования» (с. 83).

²⁴⁸ Там же, с. 72. При этом, правда, странным образом Вилкул продолжает называть слово *дружина* «термином». Но ведь если говорить о слове как термине, то надо видеть в нём узкое и точное (терминологическое) значение — а именно в этом историк и отказывает дружине.

Дружина в древнейших славянских памятниках

Большим пробелом в существующих терминологических исследованиях является «предыстория» тех или иных древнерусских слов в старо- или церковнославянской литературе, которая стала общим наследием многих славянских народов. И это в полной мере применимо к слову *дружина*. Сам факт, что оно было известно в глубокой древности, начиная с кирилло-мефодиевских текстов, и в других славянских языках, помимо древнерусского, стал уже давно очевиден и зафиксирован в трудах по лексикографии. Однако, каким образом соотносится употребление слова в этих языках, – вопрос, который, если и затрагивается, то мельком, и практически только в работах филологов, но не историков.

Высказывались только суждения общего характера, например, что слово должно было эволюционировать в семантическом содержании: от древнейшего значения с широким смыслом к более узкому и специальному. Так, по мнению Ф. П. Сороколетова, поддержанному А. С. Львовым, общеславянским и первоначальным было значение товарищи, спутники, «но в военном значении, в значении "приближенное к князю постоянное войско" (и во вторичных военных значениях) термин *дружина* является принадлежностью только древнерусского языка»²⁴⁹. Такого рода рассуждения внешне выглядят логично, но действительные показания источников далеко не всегда столь однозначны. Например, в древнейших пластах летописи (а на древнерусском летописном материале, главным образом, указанные авторы и работают) все значения (и «общеславянское», и «военные») присутствуют вместе, и нельзя установить, какое из них первоначально (ср. ниже). Возможно, эта эволюция применима к материалам старо- и церковнославянским, но такого рода проверки ещё не производилось, авторы опираются лишь на отдельные примеры, не замечая или игнорируя те, которые не подтверждают теорию. Не случайно при этой неопределённости было недавно высказано мнение, которое, противореча приведённому, предполагает глубокую древность (восходящую чуть не к праславянскому единству) значения объединение служилых людей за словом *дружина*²⁵⁰.

Моя задача состоит в том, чтобы проверить, насколько подтверждаются эти суждения, уточнить, дополнить и, возможно, пересмотреть их. Таким образом, в центре стоит исследование происхождения и эволюции слова *дружина* в общеславянском контексте. Значения этого слова надо фиксировать и оценивать с учётом сфер его распространения как в литературе, так и в живом языке, потому что, очевидно, в условиях использования церковнославянской письменности в разных странах и в разные периоды эти сферы могли существенно расходиться.

Особого внимания заслуживает вопрос о связи слов *друг* и *дружина*. В исторических трудах весьма распространено, едва ли не общепризнанно мнение, что первое из них употреблялось с древнейшего времени в смысле "дружинник – член дружины как военного объединения при князе". В поддержку этого мнения ссылаются на пару примеров из церковнославянских текстов и на очевидную этимологию слова *дружина* – от слова *друг*²⁵¹. Между тем, при этом как-то забывается, что древнейшее наиболее распространённое значение слова *дружина* "товарищи, спутники" связано со словом *друг* в смысле "приятель, товарищ" – то есть дружина является, собственно, друзьями/приятелями²⁵². Значения "военное объедине-

²⁴⁹ Сороколетов 1970/2009, с. 75; Львов 1975, с. 16, 281.

²⁵⁰ Горский 1999, с. 180–189; Горский 2006, с. 53–56.

²⁵¹ С точки зрения словообразования дружина в качестве собирательного существительного выглядит вполне естественно (от *другъ* путём присоединения суффикса – *ина*) – см: Максимов 1975, с. 57 и след. Ср. также: Львов 1975, с. 281.

²⁵² Ввиду дальнейших изысканий следует заметить, что старославянское слово *друзь* в качестве существительного

ние" за словом *дружина* и "воин-дружинник" за словом *друг* можно, допустим, в том или ином случае предполагать, но для того, чтобы считать их древнейшими, нужно выдвигать какие-то очень веские доводы, потому что само по себе (с точки зрения этимологии и словообразования) это совсем не естественно и не логично. По законам словообразования естественно такое развитие: *друг* в значении "приятель, товарищ" > *дружина* как объединение, группа приятелей > *дружина* как какая-то особая (в том или ином отношении) группа > *дружинник* как член такой группы. А такая эволюция выглядит неестественной и даже просто невозможной: *друг* в значении "приятель, товарищ" > *дружина* как "объединение, группа приятелей" > *дружина* как какая-то особая (в том или ином отношении) группа > *друг* как член такой группы. Таким образом, предстоит рассмотреть и примеры употребления слова *друг*.

Методика исследования предлагается следующая. Значение слова выявляется прежде всего по контексту его употребления, а также – в случае, если речь идёт о переводном произведении и доступен в той или иной форме оригинальный текст, с которого был выполнен перевод, – в зависимости от параллели в этом оригинале. Большое значение для прояснения первоначального употребления слова имеет история текста, в котором оно использовано. Текстология разных памятников старо- и церковнославянской письменности разработана в разной степени; её результаты учитываются во всех случаях, когда это возможно. Исходной для анализа была подборка упоминаний лексемы *дружина* в старославянских памятниках, предложенная в соответствующей словарной статье чехословацкого «Slovníku jazyka staroslověnského» («Словаря старославянского языка»). Необходимо, однако, учитывать, что эта подборка отражает отнюдь не полностью корпус старославянских текстов (что бы ни понималось под этим выражением). Словарь включил материал «памятников, принадлежащих к так называемому канону классических текстов (имеются в виду древнейшие славянские рукописи X–XI вв. – П. С), далее библейских, литургических, агиографических, гомилетических, правовых и т. п. текстов, возникших в первый период переводческой деятельности славянских апостолов и их учеников... и так называемых чешско-церковнославянских текстов»²⁵³. Наиболее существенное ограничение словаря в том, что в нём не отражены древнеболгарские тексты, не сохранившиеся в древних рукописях, но созданные в начальный период существования славянской литературы. Правда, характер употребления слова *дружина* в этих текстах в общих чертах довольно ясно вырисовывается из совокупности тех примеров, которые приведены в словаре, и некоторых дополнительно привлечённых данных. В то же время отбор источников, произведённый составителями, позволяет более тщательно проследить употребление в текстах моравско-чешского происхождения. Особенно важны произведения на славянском языке, созданные в X–XI вв. в Чехии, где бытование и семантическая эволюция слова представляет больше всего проблем, но и наибольший интерес с исторической точки зрения. Среди этих произведений значительное место занимают переводы с латыни. Надо оговориться, что даже при максимально возможном расширении круга памятников по сравнению с теми, которые были отобраны для «Словаря», нельзя претендовать на исчерпывающий учёт всех упоминаний в текстах ни кирилло-мефодиевских, ни моравско-чешских (не говоря о болгарских). Тому есть две причины: во-первых, на сегодняшний день корпус этих текстов определён далеко не окончательно и однозначно, во-вторых, лексический состав не всех из них обработан с должной полнотой и тщательностью. В

имело значение "приятель, товарищ", а в качестве местоимения – "второй, следующий" (отсюда современное *другой*). «Православ[янское] **drugъ* "приятель, товарищ" и "иной, другой; второй, следующий"», является «единым этимологически» и восходит к очень древним корням (ЭССЯ, 5, с. 132, статья «**drugъ(jь)*»; ср.: Słownik prasłowiański, 4, с. 269–271). К каким именно корням – по этому поводу выдвигались разные предположения, см. выше в главе I (с. 127).

²⁵³ ССЯ, 1, с. XI («Введение» Й. Курца).

том или ином конкретном случае эти обстоятельства могут иметь значение, и на них обращается внимание.

1. Тексты кирилло-мефодиевского круга

Из текстов кирилло-мефодиевского круга важнейшими являются жития славянских первоучителей. Житие Константина-Кирилла было написано вскоре после его смерти (869 г.), скорее всего Мефодием при участии учеников братьев. Житие Мефодия написал также вскоре после его смерти (885 г.) кто-то из его непосредственных учеников; тогда же, по-видимому было подвергнуто некоторой редактуре Житие Константина, которое и дошло до нас в таком отредактированном виде²⁵⁴.

Дружина упоминается однажды в Житии Константина в рассказе о его хазарской миссии. Одним из эпизодов этой миссии было нападение венгров на Константина, прибывшего в Херсонес. Венгры двигались, видимо, с востока вдоль черноморского побережья в Центральную Европу. Из повествования, правда, не совсем ясно, когда и где точно произошла эта встреча: то ли во время одной из отлучек миссионера из Херсонеса (где он пребывал довольно длительное время) для того, чтобы защитить от хазарского нападения некий христианский город, то ли уже после того, как он окончательно покинул греческую колонию и направился собственно в Хазарский каганат. Как бы ни понимать это место, ясно, что Философ двигался самостоятельно (сказано, что он «възврати ся въ свой путь») и перед угрозой со стороны венгров оказался беззащитен. Житие сообщает, что сначала венгры были настроены враждебно и даже хотели убить Философа, но потом «по божию повелѣннѣи укротѣша» и «отпустиша # съ въсею дружиною»²⁵⁵.

Кто составлял эту «всю дружину»? Вероятнее всего, – вне зависимости от определения того, когда и где именно произошло нападение, – Константин был в сопровождении членов того посольства, которое, согласно Житию, он возглавил по поручению византийского императора. По Житию, посольство направлялось в Хазарию с миссионерскими целями. Современные историки считают, что посольство состоялось в 861 г. и имело также политические цели²⁵⁶. В начале рассказа о хазарском путешествии приведён разговор императора и Константина, из которого следует, что последний был снаряжён «честно съ цесарскою помощію». Этими словами подчёркивался официальный характер миссии Философа. Потом упоминается ещё, что Константина в путешествии сопровождал его брат (об этом говорится и в Житии Мефодия). Вероятно, в посольстве участвовал ученик Мефодия Климент, который, согласно его житию, всегда, ещё и в византийский период деятельности братьев, сопровождал своему учителю²⁵⁷. Очевидно, под *дружиной* имелись в виду члены посольства, их помощники и слуги, может быть, также какие-то люди – охрана и/или проводники, – представленные Константину как императорскому посланнику византийской администрацией Херсонеса. Наличие вооружённых людей в составе посольства теоретически следует предполагать, но всё-таки в целом оно не должно было носить характер военного отряда, и не случайно, что в Житии ничего не говорится о попытках оказать сопротивление венграм.

Переводчики Жития Константина на современный русский язык передают слова «съ всюю дружиною» как «со всеми сопровождающими» или «со всеми спутниками»²⁵⁸. Такое

²⁵⁴ См. изложение итогов исследования памятников на конец 1970-х гг.: Флоря 1981/2000, с. 82 и след.

²⁵⁵ Лавров 1930, с. 12–13. Ср. то же по новгородскому списку, который ныне признаётся как будто за более близкий первоначальному тексту: Житие Константина-Кирилла 1999, с. 36, 493.

²⁵⁶ О византийско-хазарских отношениях и миссии солунских братьев см.: Dvornik 1933, с. 176 и след.; Артамонов 1962, с. 324–335. Ср. также исторический комментарий к Житию: Флоря 1981/2000, С. 221–222, 228.

²⁵⁷ Житие Климента Охридского 2004, с. 200–201.

²⁵⁸ Флоря 1981/2000, с. 150; Житие Константина-Кирилла 1999, с. 37.

понимание «дружины» Константина и Мефодия вполне подходит по контексту. Не менее важно также, что значение "спутники" фиксируется за словом и в переводных памятниках, которые восходят к творчеству солунских братьев и их непосредственных учеников.

В ряду примеров из переводных произведений сошлюсь прежде всего на один случай использования слова в переводе Евангелия. В Евангелии от Луки (II, 44) рассказывается об одном эпизоде из отрочества Иисуса. Иисус с родителями ходил каждый год в Иерусалим на Пасху. В один год случилось так, что когда после праздника они стали отправляться из Иерусалима домой в Назарет, родители разлучились с Иисусом. Иосиф с Марией ушли из города и «думали, что Он идёт с другими», а на самом деле отрок Иисус остался в Иерусалиме. Фраза, процитированная по синодальному переводу, в греческом оригинале

выглядит так: **νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνόδῳ**. Славянский пере-

вод Кирилла и Мефодия даёт: **мнѣвъша же ѿ вѣ дружинѣ сѣшть**²⁵⁹.

Практически так же передаётся фраза в евангелии апракос, например, в Остромиро-

вом: **мнѣвъша же ѿ вѣ дружинѣ сѣщъ**²⁶⁰. Перевод в данном случае почти

дословный. Греческое слово *συνοδία*, переведённое как *дружина*, обозначает "спутники, сопровождение". Смысл старославянского слова, таким образом, здесь совпадает с тем, в каком оно употреблено в жизнеописании Константина-Кирилла.

В таком же смысле слово часто выступает в месяцесловах евангелий и апостолов в заголовках при указании празднования памяти тех или иных святых. Оно используется для обозначения группы святых, которые прославились (обычно как мученики) с каким-то одним выдающимся святым (или с несколькими такими), но в отличие от него не называются по имени: например, память св. Калистрата и «дружины его»²⁶¹, страсть свв. Алфею, Александру, Зосиме «и дружин# ихъ»²⁶² и т. п. Это выражение соответствует греческим *συνοδία*

или **οἱ σὺν αὐτῷ** в византийских месяцесловах. Очевидно, значение слова дружина здесь самое общее, близкое к "спутники, сподвижники" и т. п. и даже просто "другие, прочие". Об этом говорит и лексическая вариативность: так, в Слепченском апостоле указана память св. Акиндина «и дружины его», а в Охридском – «и ин#хъ», в то время как в греческом здесь:

καὶ τῶν σὺν αὐτῷ²⁶³. Однажды слово употребляется в Синайском ехлогии (содержащем тексты великоморавского происхождения) в том же значении: «осв#щеи Павла ап(осто)ла твоего на пути по ср#д# дружины его»²⁶⁴.

Очевидно, со словом *дружина* в текстах кирилло-мефодиевского круга проблем не возникает – за ним фиксируется одно устойчивое значение²⁶⁵. Несколько сложнее дело обстоит

²⁵⁹ Мариинское *четвероевангелие* 1883, с. 200 (л. 83). Ср. то же в Зографском: *Codex Zographensis* 1879, с. 85. Согласно новейшей гипотезе, первым Кирилл и Мефодий перевели именно евангелие тетр (а не апракос): Алексеев 1999, с. 149–150.

²⁶⁰ Остромирово евангелие 2007, л. 256об. Ср. практически то же в Савиной книге: Савина книга 1999, с. 619 (л. 144об.). В апракосах это место из Евангелии от Луки находится в месяцесловной части в январских чтениях (на Обрезание).

²⁶¹ См., например: Остромирово евангелие 2007, л. 226; Слепченский апостол 1912, с. 94.

²⁶² Охридский апостол 1907, с. 95. Здесь же целый ряд подобных примеров. Календарь в этой рукописи моравского происхождения, с явным латинским влиянием.

²⁶³ См. подбор вариантов этой памяти и из других рукописей в словарной статье «»: ССЯ, 1, с. 519.

²⁶⁴ *Euchologium Sinaiticum* 1933, с. 728–729 (молитва над теряющим зрение; греческий оригинал неизвестен). Любопытно, что этот же пассаж далее в той же молитве повторяется в немного другом виде и с заменой слова дружина: «и прикрывъ очи его по ср#д# братрия его». Таким образом, синонимом слова дружина выступает слово братрия. В СС 1994, с. 197, видимо, вслед пражскому «*Slovniku*», указывается, что слово содержится ещё в Рыльских листках (сохранивших отрывки «Паренесиса» Ефрема Сирина), однако это указание ошибочно – на самом деле слово в этом памятнике не упоминается, см. издание со словоуказателем: Рилски листове 1956.

²⁶⁵ Ср.: Львов 1975, с. 280.

со словом *друг*, в котором многие историки хотят видеть определённый социальный смысл, а именно – член дружины как военного объединения под властью (предводительством) князя. Посмотрим, насколько оправдан такой взгляд.

Наиболее известный пример, на который часто ссылаются, – это упоминание некоего «друга» в Житии Мефодия. Агиограф, прерывая рассказ о деятельности своего героя в Моравии в качестве архиепископа (после 873 г., как выясняется из сопоставления Жития с данными других источников), сообщает о его пророческом даре и приводит три примера сбывшихся предсказаний (эти сообщения выделяются в современных публикациях в отдельную главу под номером XI). Этот раздел начинается словами: «Б# же и пр(о)рочьска бл(а)г(о)дать въ немь...» Далее рассказывается о предсказании Мефодием насильственного крещения некоего языческого князя, затем об обещании победы над врагами, которое святой дал моравскому князю Святополку, если тот посетит «мъшю», то есть мессу (литургию). В третьем случае речь идёт о неканоническом браке, которому противодействовал Мефодий. Начало такое: «Етеръ другъ богатъ з#ло и съв#тъникъ оженися купетрою своею рекъше ятръвью» (то есть: женился на куме). В следующей фразе говорится, что Мефодий, «много казавъ и учивъ и ут#шавъ», не мог «развести» мужа и жену, потому что тех поддерживали представители немецкого духовенства «им#ния ради». Заканчивается рассказ сообщением о внезапной «напасти», обрушившейся на супругов, которая толкуется как божественное наказание за отступление от правил церковного брака²⁶⁶.

Вопрос состоит в том, кто был тот человек, который – противно канонам – женился на своей куме, и даже точнее: как интерпретировать слово *друг* во фразе, начинающей рассказ о третьем предсказании Мефодия. В литературе существует мнение, что это слово употреблено в данном случае в «техническом» смысле как обозначение члена княжеской дружины – «дружинник». Впервые это мнение высказал мельком А. Вайан. Он перевёл фразу следующим образом: «un certain ami, un conseiller très riche, épousa sa commère», сопроводив её комментарием: «Дроугъ doit avoir ici le sens spécial de «Дроужиньникъ», "membre de la *družina*"; la *Vie de Méthode* est traduite du grec, et Дроугъ rend *ἐταῖρος* au sens de "membre de l' *ἐταῖρεία*". Les conseillers du prince étaient choisis dans la *družina*»²⁶⁷. Опираясь на мнение французского лингвиста, такой перевод фразе даёт Б. Н. Флоря: «Некто из дружины, очень богатый и советник (князя), женился на своей куме...»²⁶⁸. Похожий перевод предлагает Й. Вашица: «jeden člen knížecí družiny, velký boháč a rádce...»²⁶⁹. Так же понимает дело М. Б. Свердлов, а А. А. Горский уже без ссылок утверждает, что «единственное число от понятия дружина – друг» «встречается в великоморавском памятнике», то есть в Житии Мефодия²⁷⁰. В чешской историографии также утвердилось понимание «друга» в житии как «дружинника»²⁷¹.

Однако, бесспорным мнение Вайана назвать никак нельзя. Во всяком случае, сколько-нибудь веских аргументов он не привёл. Замечание о греческом соответствии аргументом считать нельзя, поскольку сама мысль о том, что Житие Мефодия

²⁶⁶ Лавров 1930, с. 75–76. Житие Мефодия опубликовано по древнейшему списку из знаменитого Успенского сборника XII в. с вариантами (очень незначительными) по более поздним спискам.

²⁶⁷ «Дроугъ» должно иметь здесь специальный смысл «Дроужиньникъ», "член дружины"; Житие Мефодия переведено с греческого, и «Дроугъ» передаёт *ἐταῖρος*; в смысле "член *ἐταῖρεία*". Советники князя выбирались в дружину»: Vaillant 1947, с. 41.

²⁶⁸ Флоря 1981/2000, с. 191 (перевод), 315 (ссылка на работу Вайана в комментарии). Перевод, кстати, неточен. Если принимать толкование Вайана, то надо переводить именно «некий дружинник», – о «дружине» как таковой речь не идёт.

²⁶⁹ Vaška 1965/1996, с. 285.

²⁷⁰ Свердлов 1997, с. 93; Горский 2006, с. 53.

²⁷¹ Ср., например: Havlík 1978, с. 68, 79; Havlík 1987, с. 75, 180.

якобы было переводом с греческого, не обоснована²⁷², и догадка о греческой параллели данному конкретному слову является чистой абстракцией. Указание на слово «*νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνόδῳ*» является просто недоразумением: судя по написанию, Вайан имел в виду старославянское слово, но на самом деле такого слова в старославянском языке не зафиксировано. Слово *дружинник* известно только в русском языке с начала XVI в., причём в XVI–XVII вв. в значениях "помощник или наёмный работник в вотчинном хозяйстве"²⁷³, а значение "член (княжеской) дружины" – плод научного творчества XIX в. (как немецкое *Gefolgschaft*)²⁷⁴.

Сколько-то серьёзно смотрится лишь «исторический» довод Вайана: о «советнике» князя можно, действительно, предположить, что он входил в дружину в смысле объединения людей, служащих на тех или иных условиях князю. Однако этот довод может иметь силу, только если допустить, что такие объединения в самом деле существовали у моравян в конце IX в. и что в данном случае речь идёт именно о княжеском советнике. Возможны ли эти допущения?

Большинство историков предполагает существование дружин у моравских князей, хотя они сталкиваются по крайней мере с двумя сложными проблемами: что понимать под дружиной и как интерпретировать те скудные, разрозненные и смутные данные (большей частью иностранных писателей на не-славянских языках) о славянских обществах IX–X вв., которые мы имеем²⁷⁵. Не углубляясь в эти проблемы, разумно будет, исходя хотя бы из типологических аналогий, допустить, что какие-то военно-дружинные объединения славяне знали. Другое дело, что совершенно не обязательно принимать как аксиому, во-первых, что «советники» непременно должны были входить в эти объединения, и во-вторых, что эти объединения должны были непременно называться дружинами, а их члены – друзьями.

«Советник», конечно, имелся в виду именно Святополков. Во всех примерах пророческих предсказаний Мефодия речь идёт о том времени, когда тот жил в Моравии, где трудно предположить каких-то иных советников, кроме советников князя. Во втором примере пророчества Мефодия собственно и упоминается моравский князь Святополк. Из рассказа о неканоническом браке ясно следует, что этот «советник» был хорошо знаком Мефодию, причём, вероятно, на протяжении более или менее длительного времени. Поскольку по поводу брака развернулась борьба с немецким духовенством, очевидно, что речь идёт именно о Моравии²⁷⁶. Само слово *советник* нередко употребляется в кирилло-мефодиевских текстах.

²⁷² Мысль о том, что оба «паннонских жития» являются переводом греческого оригинала, высказывалась ещё в XIX в., в частности, А. Д. Вороновым. Его аргументация подверглась критике П. А. Лавровым, доводы которого развил В. Погорелов, см.: Погорелов 1932. Позднее к этой мысли возвращались некоторые учёные, но лингвистические исследования Н. ван Вейка (о Житии Константина) и Х. Бирнбаума (о Житии Мефодия) убедительно показали, что жития были составлены изначально на славянском языке (хотя, конечно, отдельные грецизмы и переводные тексты в них присутствуют), см.: van Wijk 1941, особ. с. 96–98; Birnbaum 1964.

²⁷³ СРЯ, 4, с. 363–364. Ср.: Сороколетов 1970/2009, с. 68–69.

²⁷⁴ СРЯ XVIII века, 7, с. 17–18.

²⁷⁵ Ср., например: Łowmiański Początki, 4, с. 150 и след.; Třeštík 1997, с. 287–296; Горский 1999, с. 180–183. Характерно, что каждый из названных исследователей придерживается своего особенного понимания дружины и, естественно, допускает те или иные отличия в интерпретации конкретных данных по истории Великой Моравии. Ловмянский говорит о «классической» дружине («домашней», тацитовского типа), Тржештик — о «большой дружине», Горский — об объединении всех «служилых людей князя» (ср. в главе I).

²⁷⁶ На таком понимании текста основано сопоставление этого места Жития с одним пассажем в так называемой «Анонимной гомилии» Клоцова сборника, авторство которой Й. Вашица убедительно атрибутировал Мефодию. Автор «Гомилии», то есть Мефодий, как раз специально обращает внимание на неканоничность браков с кумами, давая понять, что кто-то из заключивших такого рода брак пользуется поддержкой князя. Очевидно, речь шла о Святополке и представителях моравской знати – вероятно, прежде всего том самом «советнике», о котором говорит Житие. См.: Вашица 1963, с. 21–27; Флора 1981/2000, с. 315–316.

Как **сѣвъѣтъникъ** обычно переводилось греческое σύμβουλος или βουλευτής²⁷⁷. В частности, в Житии Константина в рассказе о хазарской миссии несколько раз упоминается «первый советник» хазарского кагана, причём всегда без пояснения «его» или «кагана»²⁷⁸.

Но если даже признать, что речь идёт о «советнике» моравского князя – очевидно, Святополка – из этого отнюдь не следует, как уже было сказано, что этот «советник» должен был входить в «дружину» Святополка (даже если таковая существовала). Правильнее было бы не гадать о каких-то возможных смыслах слова *друг* в данном случае, а исходить из двух его значений, многократно зафиксированных словарями: 1) "товарищ, приятель" и 2) в качестве местоимения – "другой".

Если мы принимаем первое значение, можно думать, что после слов «етерь другъ» просто пропущено указание, чей это был приятель или товарищ. Именно в таком направлении размышлял, например, Ф. Миклошич – он считал, что после этих слов подразумевалось имя Святополка, о котором говорилось в предыдущем примере сбывшегося «проприцания» Мефодия²⁷⁹. Однако, можно также думать, что в том месте подразумевалось имя не Святополка, а самого Мефодия, и речь шла о человеке, с которым Мефодия связывали приятельские отношения. Сообщение о том, что этого человека архиепископ долго «наставлял» и «уговаривал», может как раз указывать на такие отношения. Пропуск имени Мефодия контекстом допускается: автор Жития Мефодия вообще редко упоминает имя своего героя, часто заменяя его местоимениями и опуская при глаголах (в главе XI славянский первоучитель по имени вообще не называется, так что переводчикам на русский язык приходится несколько раз вставлять в текст <Мефодий>, чтобы избежать смысловой путаницы).

Наконец, слово **дрогъ** в этом месте Жития можно понимать и как местоимение в значении "другой, следующий, ещё один". Местоимение **етерь** (некий) в старославянском языке часто употреблялось с другими местоимениями – например, **всьякъ етеръ**, **етерь кѣто**, **етерь кын**, **инъ етеръ**, **етерь чѣто** и т. п.²⁸⁰ Известны сочетания его и с **дрогъ**. Так, в переводе с латыни (выполненном, вероятно, в Чехии или Хорватии в X–XI вв.) апокрифического «Евангелия Никодима» (так называемая «Полная» редакция) латинское *quidam alius* несколько раз передаётся как «други етеръ»²⁸¹. В такого рода сочетаниях возможны были вариации. Характерно, например, как в древнейших славянских Евангелиях передаётся одно место из Матф., XVIII, 12: **ἐὰν γένηται τινὶ ἀνθρώπῳ**.

Саввина книга: **аще вѣдетъ единомуу чл(овѣ)коу**, Мариинское евангелие: **етероу чл(о)в(ѣ)коу**, Зографское: **етероу**, Ассеманиево: **оу етера чл(овѣ)ка**, и наконец, Остромирово евангелие даёт **етероу дроугоумѣ чл(о)в(ѣ)коу**²⁸².

При этом понимании перевод словосочетания в Житии должен быть таков: «некий другой» с подразумеваемым далее «человек». Этот вариант, обоснованный с лингвистической точки зрения, вызывает меньше всего вопросов и с точки зрения смысла, поскольку снима-

²⁷⁷ См.: ССЯ, 4, с. 245.

²⁷⁸ Лавров 1930, с. 14, 23. В других памятниках «пръвыи сѣвъѣтъникъ» передавало греч. φητοσύμβουλος.

²⁷⁹ Vita Methodii 1870, с. 18, 29.

²⁸⁰ Подбор вариантов с примерами см. в словарной статье «о»: ССЯ, 1, с. 584.

²⁸¹ L'Évangile de Nicodème 1968, с. 20–23. Новейшая работа об этом интересном памятнике: Ziffer 2009.

²⁸² Подбор вариантов к этой евангельской фразе см. в статье «о»: ССЯ, 4, с. 980.

ется неясность, о чём друге идёт речь, и не приходится прибегать к сомнительной гипотезе о «дружинниках». Такое понимание этого места предлагали в своих переводах виднейший знаток кирилло-мефодиевской проблематики и старославянской литературы П. А. Лавров и – в недавнее время – О. А. Князевская²⁸³. Оно представляется наиболее простым, логичным и убедительным.

Помимо этого сложного места Жития Мефодия в древнейших славянских текстах есть и другие упоминания слова *друг*, которые как будто могли бы свидетельствовать в пользу значения "дружинник, человек на службе князя". Так, недавно А. А. Горский попытался подкрепить толкование этого места, предложенное А. Вайаном, обратив внимание на одно разночтение в редакциях «Закона Судного людем».

«Закон судный людем» – правовой памятник древне-моравского происхождения, который был составлен, как показывают современные исследования, скорее всего самим Мефодием²⁸⁴. Текст «Закона» представляет собой перевод греческого юридического сборника «Эклоги» (VIII в.) и известен в трёх редакциях – Краткой, Пространной и Сводной. Установлено, что Краткая редакция (сохранившаяся в древнейших списках) наиболее близка оригиналу, Пространная является переработкой, предпринятой «на Руси не позже середины XIV в., предположительно в первой половине этого столетия», вероятно, в Новгороде или Пскове²⁸⁵, а Сводная представляет собой ещё более позднюю компиляцию. Разночтение между Краткой и Пространной редакциями, подмеченное Горским, находится в 3-й главе «Закона», устанавливающей порядок дележа военной добычи.

Это установление выглядит в Краткой редакции (где глава названа «О полонь») следующим образом:

«... Та же б(ог)у дающе поб#ду, шестую часть достоить взимати князю, а прочее все число взимати вс#мъ людемъ, в равную часть разделить великаго и малого, довл#еть бо жупаномъ часть княжа и прибытокъ оброку людскому имъ. Аще ли обрящются(я) етери от т#хъ дързнувше, или кметищи или простыхъ люди, подвигы и храборство сд#явше, обр#таяися князь или воевода в то время от реченаго урока княжа да подаеть, яко и л#по, да подъемлетъ ихъ. По части, еже обр#тающимся на брани бываетъ, и часть останущимся на стану [тъ]»²⁸⁶.

Текст, если его правильно разделить знаками препинания, не представляет больших трудностей для понимания и построен совершенно правильно, кроме одной ошибки в конце, где слова «на стану» каким-то переписчиком были поняты как глагол и к ним прибавлено окончание «тъ», превратившее «на стану» («в лагере») в «настануть» («настанут») и лишившее фразу смысла. Это просто случайная ошибка. Перевод на современный русский язык выглядит так: «Когда бог даст победу, шестую часть (добычи) должен взять князь, а остальное берут все люди, разделив поровну между большим и малым, ибо жупанам²⁸⁷ довольно и (того, что они получают из) части, которую берёт князь, и части от налогов, собираемых с людей. Если же найдутся некие из них, проявившие смелость— кмети²⁸⁸ или простые люди

²⁸³ Перевод Лаврова: «некто другой, один богатый советник князя...» (Лавров 1895/2005, с. 309). Перевод Князевской: «Один человек, очень богатый, и советник <князя> женился на своей куме...» (Житие Мефодия 1999, с. 77). К сожалению, ни Лавров, ни Князевская никак не обосновали свои варианты.

²⁸⁴ См.: Максимович 2004, с. 53–56.

²⁸⁵ ЗСЛ пространной и сводной редакций 1961, с. 21 (введение М. Н. Тихомирова «Пространные списки Закона Судного людем»).

²⁸⁶ Цитирую по списку (древнейшему) Новгородской Кормчей: ЗСА краткой редакции, с 36; ср. с. 105.

²⁸⁷ Жупаны – знатные люди. В греческом оригинале стоит слово. Ср. комментарий к упоминанию жупанов Константином Багрянородным в главе IV (с. 385–386).

²⁸⁸ О происхождении, истории и значении слова кметь в славянских языках мнения специалистов расходятся, но оче-

– (и) совершившие подвиги и храбрые деяния, князь или воевода, присутствующий (там) в то время, от указанной княжеской части пусть даст им, как (покажется) уместно, и пусть (тем самым) отличит их. В соответствии с частью, которая придётся на долю участвовавших в сражении, (дать) часть и тем, кто оставался в лагере»²⁸⁹.

Пространная редакция меняет заголовок («О бран#х») и несколько меняет текст:

«...Б(ог)у дающему поб#ду, пл#на же шестую часть достойть взимати кн(я)земь, и прочее число все всимъ людемъ в равну часть д#литися от мала и до велика, достойть бо кн(я)земь часть кн(я)жа, а прибытокъ людем. Аще обрящеться етери и от т#хъ друговъ, или км#тищищъ или простыхъ людии, подвигъ и храборство сд#еть обр#таютьс(я), обр#таяся князь или воевода в то время от урочнаго урока кн(я)жа да подається, яко же л#по есть, да емлеться по части, иже обр#тається на брани, да бываеъ часть и остають на стану, да бываеъ тако»²⁹⁰.

Из сопоставления двух текстов совершенно очевидна испорченность того из них, который представляет Пространная редакция. Редактор то ли не понял, то ли не разобрал текст Краткой редакции, на который явно опирался, и попытался, внося собственную интерпретацию, сделать его более понятным, – однако это ему плохо удалось. Например, он заменил древнее слово, уже малопонятное на Руси в XIV в., *жупаны* на *князи*, но в итоге получил тавтологию, так как о князьях уже было только что сказано. В результате этой правки также стало неясным, о каком «прибытке» идёт речь, и редактор упростил текст, предлагая понимать под «прибытком» то «число» людям, о котором сказано было выше. В конечном счёте пояснение про жупанов утратило первоначальный смысл и превратилось в бессодержательное повторение уже сказанного. Следующая фраза построена грамматически неправильно и даёт дважды повторы, обнаруживающие непонимание редактором текста: «обр#таютьс(я) обр#таяся» и затем «да бываеъ часть... да бываеъ тако». Из-за ошибок трудно понимать первую часть фразы (до слов «лепо есть»), но вторая её часть (от слов «да емлеться по части...») просто лишена смысла, хотя очевидно, что автор Пространной редакции имел, по крайней мере, в одном месте более исправный текст, чем мы имеем сегодня в списках Краткой редакции, так как он дал правильное чтение последних слов: «на стану» (вместо «настануть»). Эта часть текста Пространной редакции «Закона Судного людем» ярко подтверждает общий вывод М. Н. Тихомирова, что Пространная редакция вторична по сравнению с Краткой и в содержательном плане «не имеет значения для истории болгарского или чешского права» (то есть не даёт сведений, которые помимо Краткой редакции можно было бы возвести к древнему чешскому или болгарскому оригиналу)²⁹¹.

Между тем, А. А. Горский, заметив, что вместо «от т#хъ дързнувше» Краткой редакции в Пространной редакции читается «и от т#хъ друговъ», отдаёт предпочтение как более исправному и первоначальному (то есть восходящему к Мефодию) именно второму вари-

видно, что в «Зако́не судно́м люде́м» это слово обозначало выдающихся воинов, богатырей, имевших, возможно, и повышенный социальный статус. См.: Добродомов 1997; Bogucki 1999; Максимович 2004, с. 58–68.

²⁸⁹ Перевод сделан мной с учётом перевода на чешский язык Й. Вашицы: MMFN, 4, с. 180–181. Здесь же см. реконструкцию первоначального текста и греческий оригинал. Надо сказать, автор старославянского «Закона судного людем» (то есть, вероятно, Мефодий) переводил греческий оригинал («Эклогу») довольно свободно, допуская те или иные отклонения от него. Например, Мефодий внёс предложение искать храбрецов в среде всех «людей», включая «простых». В греческом оригинале «Эклоги» храбрецы предполагаются не среди всего войска, а только среди «архонтов», то есть знатных (обозначенных в славянском переводе как «жупаны»);... и т. д. (см. также русский перевод «Эклоги»: Эклога 1965, с. 75). Таким образом, Мефодий не слепо копировал греческие законы, а адаптировал их к реалиям моравского общества конца IX в. Такой подход обнаруживается и в других местах «Закона». Ср.: Максимович 2004, с. 43.

²⁹⁰ Цитирую по древнейшему Пушкинскому списку: ЗСА пространной и сводной редакций, с. 33–34. Ср. в других списках: Там же, с. 58, 85–86.

²⁹¹ ЗСЛ краткой редакции, с. 21.

анту и, ссылаясь на разобранный выше текст в Житии Мефодия, утверждает, что «друг» здесь «может трактоваться только как обозначение члена дружины»²⁹². Думаю, что оценка Пространной редакции – в частности, и 3-й главы, где текст явно испорчен, – как вторичной по отношению к Краткой даёт уже более чем достаточное основание для того, чтобы признать чтение «и от т#хъ друговъ» позднейшей правкой, обусловленной не реальным словопотреблением, а какими-то случайными обстоятельствами рукописно-книжной традиции.

Но даже если отвлечься от общей оценки соотношения редакций «Закона судного людям», всё-таки аргументы историка в пользу первоначальности этого чтения не выглядят убедительными. Таких аргументов у него два. Горский, во-первых, считает, что исправление «от т#хъ дързнувше» в «и от т#хъ друговъ» не могло состояться на Руси, так как «древнерусским источникам» слово *друг* в значении "член дружины" «неизвестно». Этот аргумент заставляет сразу же возразить: а почему здесь вообще надо предполагать значение "член дружины"? Речь ведь идёт вообще о неких воинах-героях из числа «людей», отличившихся только мужеством на поле боя, но ничем более; специальное уточнение о происхождении этих героев – «или кметици или простыхъ люди» – подразумевает, что ими могли быть и «кметы», и «простые люди». Само же слово *друг* «древнерусским источникам» было хорошо известно на протяжении всего средневековья в его основном значении "приятель, товарищ" и т. п.

Во-вторых, Горский считает, что в контексте 3-й главы «Закона» по Пространной редакции указание на храбрецов «от т#хъ друговъ» несовместимо с предшествующим указанием на князей, которым полагается их «часть» добычи: под «теми друзьями» по контексту должны пониматься князья, а так назвать князей древнерусский редактор никак не мог. Следовательно, делает вывод историк, чтение «от т#хъ друговъ» должно было соответствовать в предшествующей фразе не «князьям», а «жупанам», так как этих последних, по его мнению, вполне можно было назвать «друзьями», – а значит, это чтение принадлежит той редакции (первоначальной), где речь шла о жупанах²⁹³.

Иными словами, Горский принимает в целом как первоначальный текст 3-й главы «Закона» по Краткой редакции с упоминанием «жупанов», но в одном месте предлагает «подправить» этот текст с помощью варианта из Пространной редакции («друговъ» вместо «дързнувше»). Очевидна искусственность такой операции. С точки зрения соотношений редакций «Закона» она не соответствует принципам текстологической реконструкции, так как вариант «от т#хъ дързнувше» представляет собой *lectio difficilior* и не обнаруживает к тому же никакой неясности или порчи. Но она не обоснована и по смысловому контексту 3-й главы по Пространной редакции. Горский справедливо замечает, что древнерусский редактор XIV в. не мог назвать князей «друзьями», но при этом почему-то совершенно не допускает возможности того, что этот редактор под «друзьями» здесь имел в виду вовсе не «князей», а «людей», о которых тоже говорится в предшествующей фразе. Между тем, именно такое понимание текста находит опору в Краткой редакции, где храбрецы, проявившие мужество, предполагаются из числа не только жупанов, но и всех «людей», принявших участие в сражении, – будь то «кмети» или «простые люди». Получается, составитель Пространной редакции сохранил в этом месте смысл текста по Краткой редакции, но по каким-то причинам изменил лишь слово «дързнувше» на «друговъ». Наиболее вероятной причиной для такого изменения кажется неисправность протографа, с которым работал книжник XIV в., разобравший в слове «дързнувше» только две-три буквы (например, *д*, *р*, *в*) и предположивший здесь слово «друговъ». Неисправность протографа объясняет и общее непонимание редактором XIV в. древнего текста.

²⁹² Горский 1999, с. 189.

²⁹³ Там же, с. 189, см. также сноску 210 (с. 217).

Таким образом, попытка Горского на основании одного чтения Пространной редакции «Закона судного людям» обосновать мысль, что в старославянском языке слово *друг* имело значение "член (княжеской) дружины", не представляется убедительной. Понимание «друга» моравского князя Святополка как «дружинника» в Житии Мефодия, предложенное Вайаном, не находит подтверждений в текстах кирилло-мефодиевского круга.

Правда, в лексике этих текстов есть ещё одно довольно загадочное слово, о котором нельзя не упомянуть в связи со старославянским «Дроугъ». Это слово появляется в одном месте паримийных чтений и выглядит как **Дьргъ** или «Дъргъ».

Создание славянского Паримийника современные учёные относят к первоначальной переводческой деятельности Кирилла и Мефодия²⁹⁴. Некоторые лингвистические данные, правда, говорят о том, что этот перевод был выполнен скорее после переводов Евангелия и Псалтыри. Однако, в любом случае, создание Паримийника должно было быть непосредственно связано с переводом ветхозаветных книг Мефодием (о чём говорит его житие в гл. XV) – оно либо предшествовало ему (что значительно более вероятно, так как Паримийник – книга необходимая для богослужения), либо очень скоро последовало за ним.

Упоминание этого странного слова содержится в чтениях из Исхода, гл. XIV, стихи 5 и 8. В разных рукописях написание его варьируется. Согласно реконструкции древнейшей редакции Паримийника, предложенной А. А. Пичхадзе, соответствующие фразы выглядят так: «и преврати с(е)рдце фараоново и друговъ его на люди» (Исх. XIV, 5) «и ожести г(оспод)ъ с(е)рдце фараонови ц(е)с(а)ря егуптьска и друговъ его» (Исх. XIV, 8)²⁹⁵. В греческом оригинале словам «и друговъ его» соответствует **καὶ τῶν θεραπόντων** (то есть: «и слуг»). Пичхадзе опиралась на русский список XIII в., но другие списки в качестве вариантов к «друговъ» дают «дърговъ» (а также соответствующую пару в другом падеже: «другомъ»/«дъргомъ»), а в ряде списков мы имеем вообще другие слова, например, «бол#рь», как в Лобковском паримийнике (одном из древнейших).

На первый взгляд можно как будто предполагать в этом случае за словом «Дроугъ» («друговъ» в тексте) некое социальное значение – то есть "слуга правителя (царя)" или собственно "дружинник". И тогда можно видеть здесь подтверждение такого значения в разобранном примере из Жития Мефодия.

Однако, такое предположение было бы неверно. Как указала недавно Э. Благова, чтение «друговъ» здесь вторично и ошибочно²⁹⁶. Во-первых, это чтение, по её замечанию, «аномально» в качестве родительного падежа множественного числа от «Дроугъ». Правильный gen. pl. в старославянском языке должен был бы быть «Дроугъ его», которого, однако, не даёт ни один из списков. Во-вторых, Благова обратила внимание на варианты «дърговъ» и «дъргомъ», которые присутствуют в нескольких списках и представляют собой *lectio difficilior*. Она пришла к выводу, что именно они-то (скорее «дърговъ», то есть в родительном падеже, как в греческом оригинале) и были более ранними по сравнению с «друговъ» и «другомъ», которые явились результатом более позднего осмысления уже неясного слова как общепонятного «Дроугъ». По мнению Благовой, в данном случае мы имеем дело с лексемой «Дьргъ», которая известна по нескольким примерам в древних памятниках южнославянского происхождения. Она либо была в первоначальном («мефодиевском») тексте, либо попала в Паримийник на каком-то этапе правки и обновления «мефодиевского» перевода (и тогда оригинальным является чтение Лобковского паримийника **болѣрь**).

²⁹⁴ Пичхадзе 1991, с. 147–148; Алексеев 1999, с. 152 и след.

²⁹⁵ Пичхадзе 1998, с. 47–48.

²⁹⁶ Bláhová 1999, с. 248.

Происхождение и точный смысл этой лексемы остаются, между тем, не разъяснёнными. Ещё Ф. Миклошич, выделяя в словаре отдельную статью «Дръгъ», от определения смысла слова уклонился, отметив лишь: «vox obscura»²⁹⁷.

Фактически открытым вопрос оставила и Благова. Недавно болгарская исследовательница Т. Славова обобщила упоминания слова в древних памятниках (таких упоминаний ещё несколько помимо паримийных чтений) и предположила, что речь идёт о заимствовании от протобулгар – от тюркского *dar(i)ga/daruga*, обозначающего знатных и сановных людей²⁹⁸. Хотя ясно, что слово, действительно, означало людей повышенного социального статуса и связанных с военной деятельностью, этимология, предложенная Славовой, не кажется вполне убедительной²⁹⁹. Но я не буду вступать в дискуссию по этому вопросу. Для целей данного исследования в общем не так важно происхождение загадочного слова Дръгъ. Главное для меня зафиксировать, что оно никак не было связано со словом Дроугъ³⁰⁰ и что эти лексемы смешивались только в более позднее время, когда слово Дръгъ было уже никому непонятно³⁰¹. При этом, если следовать соображениям Благовой, Дръгъ в паримийнике нельзя возводить к переводу Мефодия и его учеников.

²⁹⁷ Miklosich 1862–1865, с. 177. Правда, Миклошич в этой словарной статье отсылал к слову Дръгарь (передача византийского должностного титула δρουγγάριος), очевидно, подразумевая, что это последнее могло быть первоначальным, а Дръгъ – его видоизменением. Ясно, из чего он исходил: «юс» вполне мог превратиться в «ер», так как с денализацией носовых звуков, происходившей у большинства славянских народов в X–XII вв., в Болгарии эти звуки превращались в редуцированные и соответствующим образом передавались на письме. Но так же ясна и проблема такой этимологии: непонятно исчезновение суффикса – аръ, который в грецизмах подобных Дръгарь был вполне устойчив – ср., например сакеларь, и т. п. (см. о суффиксе и соответствующих существительных в старославянском языке: Цейтлин 1986, с. 163–168).

²⁹⁸ Славова 2009. Слово *daruga* известно, в частности, в грамотах монгольских ханов русским князьям XIII–XIV вв. и летописях (в Рогожском летописце упоминается дарига – ПСРЛ, 15, стл. 116).

²⁹⁹ Для объяснения превращения *dar(i)ga/daruga* в форму Дръгъ/Дъргъ Славовой приходится прибегать к явным натяжкам. Отмечу кстати, что список упоминаний слова, составленный Славовой, далеко не исчерпывающ – так, пример в паримийнике ей остался неизвестным. На мой взгляд, путь, намеченный Миклошичем, правильнее, тем более что в ряде упоминаний слова некоторые списки дают наряду с формами Дръгъ или Дроугъ также вариант именно с юсом: Дръгъ. Только логичнее было бы вести происхождение слова не от указанного Миклошичем Дръгарь – δρουγγάριος, а от того греческого слова, от которого произошло само δρουγγάριος – то есть от δροῦγγος. Это последнее было заимствовано в латинский (*drungus*) и греческий языки, как считается обычно, из какого-то германского языка (вероятно, готского; ср. современное нем. *dringen/drängen*) не позднее IV в. и первоначально обозначало «способ конного строя для атаки кучей» (Кулаковский 1902а, с. 12–14; ср. также: Куликовский 1902б, с. 82–85). Правда, недавно была выдвинута мысль, что заимствование произошло из кельтского языка: Rance 2004 (здесь же см. литературу). Так или иначе, в Византии уже с V–VI вв. оно обозначало определённое военное подразделение. Может быть, неслучайно в этой связи, что во всех известных на сегодня упоминаниях слова Дръгъ/Дъргъ/Дръгъ оно приводится во множественном числе.

³⁰⁰ О том, что никакой связи между ними не было, лучше всего свидетельствует один случай одновременного употребления обоих слов в одном выражении. В «Мучении св. Климента» слова греческого оригинала πολλοὶ τῶν περιφανῶν καὶ φίλων Νέρωνα τοῦ βασιλέως славянский переводчик передал следующим образом: мнози дръгови и дроузи Нерона цара (по сербской рукописи XIV в.; цит. по: Славова 2009, с. 7)

³⁰¹ Это смешение заметно в большинстве случаев фиксации лексемы Дръгъ/Дъргъ, когда тот или иной памятник известен по нескольким спискам. Например, подобная история наблюдается ещё в одном памятнике – толковом переводе Книги пророка Ионы (в так называемых Книгах XII малых пророков). Толковый перевод считается древнеболгарским, выполненным во время расцвета Преславской книжной школы при царе Симеоне. В гл. III, стих 7 мы находим два основных варианта передачи греческого: παρὰ τῶν μεγιστάνων «от бол#рь его» (в древнейшей болгарской рукописи конца XIV в.: Златанова 1998а, с. 187) либо знакомые уже вариации – «от дрьговъ», «от дреговъ», «от др#говъ», «от друговъ» (в русских рукописях конца XV в.: Книги XII малых пророков 1918, с. 74). Последний вариант является несомненной позднейшей правкой (ср. такой вывод публикатора Н. Л. Туницкого: там же, с. III).

Таким образом, текстам кирилло-мефодиевского круга хорошо известно слово *дружина*. Оно имеет значение "спутники, товарищи", а значения "военное объединение" или "люди на службе правителя" за ним не фиксируются.

Мнение, что слово *друг* могло обозначать члена (княжеской) дружины, эти тексты не подтверждают. Спорное место Жития Мефодия с упоминанием «етерь другъ» надо понимать по лингвистическим соображениям и по смыслу как сочетание местоимений, а не как указание на некоего «друга» моравского князя Святополка. «Други», появившиеся под пером русского редактора «Закона судного людей» в XIV в., не имеют никакого отношения к Моравии IX в. А слово *Дѣргъ/дрѣгъ* не имеет никакого отношения к слову *Другъ*.

2. Древнеболгарские тексты

В церковнославянских текстах болгарского происхождения слово *дружина* употребляется сравнительно часто. Основное его значение то же, что и в текстах кирилло-мефодиевского круга – товарищи, спутники. Однако в некоторых случаях за ним можно разглядеть и новые смысловые оттенки. В ряде случаев слово приобретает военные коннотации и приближается к тому значению, которое хорошо известно по древнерусским источникам (см. ниже), – "войско, военный отряд". Среди древнейших рукописей слово с такими коннотациями употребляется в Супрасльской рукописи.

Супрасльская рукопись – памятник наиболее объёмный в ряду всех «классических» старославянских памятников и имеет сложный состав, объединяя 48 житийно-патериковых текстов. Среди них исследователи с большей или меньшей вероятностью выделяют моравские переводы, есть часть, где переводы разного происхождения контаминированы (Житие 40 Севастийских мучеников), но большую часть составляют болгарские переводы, возникшие в «Преславской школе»³⁰².

Дружина встречается в этом сборнике неоднократно. В большинстве случаев слово имеет то значение, которое характерно для него в старославянских текстах ("спутники, товарищи"), и переводит соответствующие греческие слова (*συνῳδία* и т. п.). Именно такое словоупотребление мы видим уже в заглавиях некоторых житий, например: «Мучение Феодора, Константина, Феофила, Калиста, Васоя и дружины их» (4-я часть рукописи). Однако, в некоторых случаях слово употребляется в военно-героическом контексте и выступает уже с несколько иным смыслом – как объединение людей вооружённых и/или с воинственными намерениями. Следуя указаниям пражского «Slovníku», находим слово в этом смысле в упомянутом «Мучении Феодора» и прочих, а также в «Житии Кондрата» (часть 7 рукописи). Правда, надо оговориться, что в словаре подборка упоминаний слова *дружина* по Супрасльской рукописи далеко не исчерпывающая и не ясно, чем руководствовались составители словаря, предпочитая одни упоминания другим. Вот примеры из этих двух текстов с греческими соответствиями:

Мучение Феодора и прочих.

Группа мучеников, противостоящая своим мучителям, описывается как доблестное Христово воинство, и в частности приводится обращение одного из них, Васоя, к остальным: он «дрожин# своеи рече: стан#те добре, о братия, и мужьскы за Х(рист)а» – *πρὸς τοὺς συναθλητὰς ἔφη*³⁰³.

Житие Кондрата.

³⁰² Благова 1980, с. 120. Ср. также: Благова 1966, с. 77–87.

³⁰³ Супрасльски сборник, с. 62

Кондрат говорит о себе римскому проконсулу, который преследовал христиан: «яко Х(ри)с(т)ови есмь воины», я сам пришёл на казнь и мучения, «прѣборникъ бывъ дружинѣ свои» —
 ὅτι Χριστοῦ ὡμεν στρατιῶται... πρόμαχος γενησόμενος τῶν συστρατιωτῶν μου³⁰⁴

Слово в обоих случаях использовано для характеристики мучеников, которые предстают героями в борьбе за истинную веру; *дружина* здесь — это объединение «Христовых воинов». В этом символическом уподоблении мучеников воинам слово *дружина*, очевидно, обозначает просто некое военное объединение; об этом ясно говорят и греческие слова, которые оно переводит.

Очень интересно одно место с упоминанием дружины в «Беседах» Козьмы Пресвитера, полемическом произведении, против богомилов. Этот памятник принадлежит к числу оригинальных, непереводаемых болгарских текстов. Автор, ведя воображаемый спор со своим собеседником, приписывает тому следующее высказывание: «нѣс(ть)мощно въ въ мирѣ сѣмъ живуще сп(а)сти сѣ, понеже пещи сѣ есть женою, дѣтьми, силою (вар.: челядью), еще же и работы настоять вл(а)д(ы)кы земных и от дружины пакость всяка и насилья от старѣиших»³⁰⁵.

В этом перечислении всяких страданий и напастей, которые ожидают человека «в мире сем», *дружина* выступает, возможно, даже не столько в военном, сколько в социально-иерархическом контексте. Во всяком случае, её упоминание оказывается между указанием на повинности, которые приходится нести в пользу «владык земных», и угнетения со стороны «старейших». Можно, конечно, трактовать «пакость», которую причиняет «дружина», как разорение вследствие военных действий, и тогда *дружина* здесь — просто "войско". Но всё-таки контекст заставляет связывать «дружину» каким-то образом с «земными владыками». Логичнее всего понимать эту связь в том смысле, что «владыки» обязывают население к «работе», то есть к разным налогам и повинностям, а их «дружина», взимая эти налоги и повинности, творит «пакость всяку». Тогда надо думать, что имеются в виду обычные для средневековья злоупотребления лиц, уполномоченных центральной властью к осуществлению суда и управления на местах, по отношению к местному населению³⁰⁶. Эти лица, обозначенные как «дружина», являются в каком-то смысле «друзьями» и «спутниками» для тех, кому они служат, то есть для «владык», и в этом отношении здесь можно видеть развитие древнего значения слова. Но с другой стороны — ведь речь идёт о власти и господстве, и *дружина* обозначает уже не просто группу товарищей, а некий социальный слой или группу, встроенную во властно-иерархические отношения, в которых главой этой «дружины» оказывается не просто какой-то лидер или начальник, а глава государства — «владыка земной».

Разумеется, не стоит искать в этих словах Козьмы Пресвитера какой-то особой точности и пытаться придать слову *дружина* специальный технический смысл — автор пишет в более или менее общем смысле о социальном угнетении, и недаром заканчивает свой пассаж упоминанием вообще «насилий от старейших». Но всё-таки смысловое наполнение слова здесь уже, видимо, несколько отстоит от того, какое мы видели в предыдущих примерах, и приближает нас к древнерусским текстам.

³⁰⁴ Там же, с. 99.

³⁰⁵ Бегунов 1973, с. 352.

³⁰⁶ Именно в этом смысле употребил слово пакость князь Владимир Мономах, наказывая своим детям в «Поучении» (начало XII в.): «не дайте пакости дѣяти отрокомъ ни своимъ, ни чюжимъ, ни в селѣхъ, ни в житѣхъ» (ПСРЛ, 1, стл. 246)

3. «Чешско-церковнославянские» тексты

Корпус текстов, созданных в Чехии в X–XI вв. на славянском языке и записанных глаголицей (но сохранившихся в значительной своей части в русских кириллических списках), был в основном выявлен и систематизирован уже к началу XX в., во многом благодаря усилиям А. И. Соболевского. Разностороннее изучение этих текстов (активно продолжающееся и сегодня) в своё время сильно повлияло на научные представления о развитии старославянского языка, о судьбах христианизации и славянской письменности в западнославянских странах, заставило обратить внимание на историю и деятельность центров этой письменности (прежде всего, Сазавского монастыря), литературные связи славянских стран, породило большую дискуссию по вопросу о том, осуществлялась ли богослужение на славянском языке в Чехии. Многое в этой проблематике остаётся спорным и неясным, в частности, по-разному оценивается происхождение некоторых текстов, близких чешской «рецензии» церковнославянского языка. Всего текстов чешской «рецензии» выделяется на сегодняшний день около двадцати (не считая глосс и надписей) – разных жанров, объёма, степени сохранности и т. д.³⁰⁷ Их можно разделить на три части (конечно, оговариваясь о возможности альтернативных интерпретаций в отношении каждого произведения или памятника): 1) тексты, возможно восходящие к великоморавской эпохе, 2) собственно чешские и 3) такие, которые относят к чешско-церковнославянским с той или иной степенью сомнения. В первой и в третьей группах слово *дружина* не фигурирует, и соответствующие тексты здесь не рассматриваются. Вторая группа, если оставить в стороне литургические, молитвенные и церковно-правовые тексты, где *дружина* также не встречается, распадается на две «подгруппы»: 1) более древние произведения – так называемое «Первое (1-е) старославянское Житие св. Вячеслава (Вацлава)», оригинальный памятник древнечешской литературы, и «Мучение св. Вита» (перевод с латыни; древнейший список в известном Успенском сборнике XII – начала XIII в. вместе со списком Жития Мефодия), 2) более поздние агиографические и гомилетические сочинения (все – переводные с латыни).

В 1-м Житии Вячеслава (как и в Мучении св. Вита) нет слова *дружина*. Однако, житие интересно в данном случае тем, что в одной из его редакций упоминаются «друзи» для обозначения людей, состоящих в окружении князя. Это упоминание историки часто сопоставляют с рассказом о «етере друге» в Житии Мефодия, и эти свидетельства, подкрепляя друг друга, позволяют им выделять для соответствующего славянского слова значение "дружинник, член дружины"³⁰⁸.

1-е Житие Вячеслава является, как считает сегодня подавляющее большинство специалистов, древнейшим памятником чешской литературы, созданным в первые годы после гибели князя (которая произошла в 935 г., согласно последним исследованиям)³⁰⁹. Оно сохранилось в трёх редакциях – хорватской и двух русских: Востоковской (по имени А. Х. Востокова, который ввёл её в научный оборот), и минейной (потому что большинство спис-

³⁰⁷ См. классический обзор текстов: Mareš 1970/2000. Ср. с учётом новой литературы, но с теми же принципиальными выводами: Nauplová 1998.

³⁰⁸ Ср., например: Горский 1999, с. 183–184.

³⁰⁹ В историографии существует точка зрения, что «1-е старославянское Житие Вячеслава» было создано позднее – до конца X в. – и что в его основе лежал некий латинский текст. До последнего времени эту точку зрения защищал видный чешский медиевист Д. Тржештик, который обобщил аргументы «скептиков» против раннего и оригинального происхождения 1-го Жития, а также против существования славянского богослужения и сколько-нибудь значительного распространения славянской письменности в древней Чехии (обычно эти вопросы у «скептиков» выступают взаимосвязанными) в работе: Třeštík 2006. Что касается создания жития, эта аргументация построена, в основном, на доводах *ex silentio* или фактах, которые не допускают однозначной интерпретации, и в виду целого ряда специальных филологических и лингвистических работ, противоречащих ей, она не представляется убедительной.

ков происходят из миней). Хорватская редакция представлена хорватскими глаголическими списками конца XIV–XV в. Востоковская редакция, несколько более пространный, представлена русскими кириллическими списками начала XVI–XVII в. Минейная редакция (списки середины XVI–XVII в.) очень близка, почти тождественна Востоковской, однако содержит, с одной стороны, поновления языка и несколько вставок явно позднейшего происхождения, но с другой – ряд чтений, сближающих её с хорватской редакцией, в том числе явно более исправных по сравнению с Востоковской редакцией. По лингвистическим параметрам хорватская редакция выглядит архаичнее, и на этом основании ряд учёных считали её более близкой первоначальному тексту, чем Востоковскую³¹⁰. Однако, последняя содержит несколько более исправных чтений, а главное – некоторые фактические данные, которые отсутствуют в глаголических списках, но по своей сути не могут быть объяснены как дополнения, сделанные на русской почве. Эти данные надо расценивать либо как восходящие к оригиналу, а значит сокращённые в хорватской редакции (которая таким образом предстаёт переработкой оригинала), либо как вставки, сделанные по дополнительному источнику ещё в Чехии (следовательно, до конца XI в., когда с реформой Сазавского монастыря в 1096 г. славянская письменность прекратила существование в Чехии). Автор последней работы, посвященной 1-му Житию, конкретных доводов в пользу того или иного решения не приводит, но призывает исходить из равноценности, по крайней мере, двух (хорватской и Востоковской) редакций относительно отражения ими первоначального текста³¹¹.

Интересующее меня упоминание содержится в рассказе об убийстве Вячеслава. Согласно житию, Болеслав, младший брат Вячеслава, задумав убийство брата, позвал его к себе в гости в свой «удельный» город – Болеславль. Прибыв к брату, Вячеслав в первый день устроил на его дворе нечто вроде воинского состязания или турнира, во время которого ему сообщили о коварных замыслах Болеслава. В Востоковской редакции об этом говорится так: Вячеслав «и въс#дъ на конь нача играти и веселитися съ други своими на дворе Болеславле. Т#м же мнимъ, яко пов#даша ему на двор# и рекоша: хочеть тя убити Болеславъ»³¹². Минейная редакция сообщает об этом эпизоде, упоминая вместо «другов» «слуг»: «и въс#дъ на конь свои начать играти со слугами своими на двор# Болеславли. Т#м же мнимъ, яко пов#даша ему на двор# и р#ша ему слуги его: княже Вячеславу хочеть тя убити Болеславъ»³¹³. В хорватских списках текст передан в более кратком виде, но близком минейной редакции: «вс#дъ на конь начеть играти са слугами своими. Ту же мнимъ, да (вар.: яко) п(о)в(о)в#д#ше ему рекуще, #ко хочеть те брать Болесл(а)въ убити»³¹⁴.

Таким образом, одна редакция указывает в окружении Вячеслава «другов», а две другие – «слуг», причём минейная редакция повторяет это слово дважды, уточняя, что именно «слуги» князя сообщили ему о злоумышлениях брата. Совпадение хорватской редакции с одной из двух русских говорит скорее в пользу их варианта, но всё-таки выбрать уверенно, какой из двух вариантов – «други» или «слуги» – первоначальный, в настоящий момент нельзя, поскольку не выяснены происхождение и соотношение редакций 1-го Жития Вячеслава. Можно только прибегать к внетекстологическим соображениям и наблюдениям.

Согласно житию, Вячеслав прибыл в город Болеслава во время поездки «по градомъ». Остаётся неразъяснённым, в чём смысл этой поездки. Автор только сообщает, «бяху же

³¹⁰ Отметить следует прежде всего М. Вейнгарта, посвятившего языку 1-го Жития специальное исследование: Weingart 1934.

³¹¹ Konzol 1998, с. 115–116.

³¹² Sborník památek 1929, с. 17. Текст издан Н. И. Серебрянским. Ср.: Житие Вячеслава Чешского 1999, с. 170.

³¹³ Sborník památek 1929, с. 25. Текст издан Н. И. Серебрянским. Ср. так же по другому списку: Сказания о начале Чешского государства 1970, с. 62.

³¹⁴ Sborník památek 1929, с. 40. Текст издан Й. Вайсом. Чтение «слугами своими» дают все три опубликованных списка этой редакции (однако, известны и другие, неизданные).

с(вя)щение ц(е)рквамъ въ вс#хъ град#хъ»³¹⁵, но почему освящение церквей или храмовые праздники (если понимать *священие* в смысле "праздник") вдруг стали происходить одновременно «во всех градах» и почему Вячеслав должен был везде появиться, непонятно³¹⁶. Кто сопровождал его в этой поездке, не говорится. Ясно лишь, что напасть на него сразу, как только он прибыл в Болеславль, младший брат и его окружение не решились, — очевидно, Вячеслав имел какую-то защиту, — и им пришлось дожидаться утра следующего дня, когда князь один пошёл в церковь к заутрене. Житие сообщает ещё, что после убийства Вячеслава Болеслав и его подручники «убиша же в томъ град# с нимъ Мьстину единого, а иныя мужи идоша вборз#»³¹⁷, из чего следует, что в Болеславле с Вячеславом был некий Мьстина и «иныя мужи». В других местах агиограф под «мужами» имеет в виду свободных людей, которые — или по крайней мере часть которых — служат князю (у Вячеслава свои «мужи», у Болеслава — свои). Помимо «мужей» упоминаются ещё «св#тники» в окружении обоих братьев, когда сообщается о подготовке князем каких-либо политических действий — очевидно, так называются те из «мужей», кто пользовался его особенным доверием и с кем он советовался по важнейшим делам (ср. выше о «св#тниках» в текстах, связанных с Кириллом и Мефодием). В конце жития по Востоковской и минейной редакциям в сообщении о перенесении мощей Вячеслава в Прагу говорится, что перенос осуществили «слуги» раскаявшегося в убийстве Болеслава³¹⁸.

Таким образом, из повествования вытекает, что Вячеслав прибыл к брату в сопровождении верных ему людей, среди которых были «мужи». Больше ничего определённого контекст не позволяет сказать. Теоретически допустимо, что этих людей или кого-то из них могли назвать равным образом и «слуги», и «други» (в том или ином смысле). Но как первоначальный вариант «слуги» выглядит, может быть, несколько более предпочтительно, потому что это слово встречается здесь же в 1-м Житии Вячеслава, а в Мучении св. Вита, сопоставимом по древности и происхождению с Житием, оно используется для перевода латинского *miles*, обозначавшего воинов или, более специально, вассалов³¹⁹. Слово *слуга*

³¹⁵ Цит. по Востоковской редакции, ср. в хорватской: «бывающимъ же свещениемъ цр#квенимъ в вс#хъ град#хъ» (там же, с. 17, 39).

³¹⁶ Насколько я знаю, в литературе ещё не высказывалась мысль, что речь может идти о празднике освящения церквей, который в католической церкви, а особенно в Германии, празднуется в один день осенью. По-немецки этот праздник называется Kirchweihe (дословно: "церковосвящение"). Высказываю эту мысль как гипотезу, не углубляясь в вопрос, существовал ли этот праздник в Германии в X в. и если да, то в каком виде.

³¹⁷ Ср. в хорватских списках: «убише же т(а)кое в томъ град# и Мастину етера частна м(у)жа Вещеславла, проче же гнаше в Прагъ» (Sborník památek 1929, с. 18, 41). Этот вариант, сообщающий не просто о бегстве «мужей», а уходе их именно в Прагу, считается более правильным (см.: там же, с. 18, примечание Н. И. Серебрянского).

³¹⁸ Sborník památek 1929, с. 19; Сказания о начале Чешского государства 1970, с. 64. Учёные, переводившие Востоковскую редакцию на современный русский язык, понимали как социальный термин также «младенцев», которых, согласно житию, «избиша» в Праге после убийства Вячеслава: Сказания о начале Чешского государства 1970, с. 54, 57; Житие Вячеслава Чешского 1999, с. 173. Однако, это явное недоразумение, основанное на ошибочном чтении Востоковской редакции, которая говорит «младенци избиша его», как будто речь идёт о младенцах Вячеслава. Поскольку детей-младенцев у Вячеслава на момент смерти не могло быть, это слово понимается как указание на «слуг» или «отроков» на службе у Вячеслава (с опорой на позднейшее значение слова mládenec в чешском языке "молодой человек, парень"). Впервые так понял текст А. Х. Востоков: «младенцы значит здесь, по-видимому, пажей или отроков княжеских, каковые были и при русских князьях под названием молодых. Слово mládenec имеет сие значение и в нынешнем богемском языке» (Востоков 1865, с. 95, ср. также с. 107). На самом деле, слово mládenec употреблено здесь в соответствии с его единственным значением в старославянском языке — "маленький ребёнок" (см.: ССЯ, 2), и имеются в виду дети «мужей» Вячеслава. Об этом прямо говорит редакция хорватских списков: кого-то из «мужей» «избише», кто-то «разб#гошесе, мланденце же издавише». На правильность чтения хорватской редакции в примечании указывал Н. И. Серебрянский (Sborník památek 1929, с. 18). Агиограф вскоре после сообщения об убийствах вспоминает об этих детях, сравнивая их с теми «младенцами», которые были убиты по приказу Ирода при рождении Иисуса (сравнение есть в обеих редакциях: там же, с. 19, 43). Об убийстве детей знатных людей, служивших Вячеславу, говорят латинские жития. Тржештик полагал, что детей убивали, опасаясь кровной мести (Třeštili 1997, с. 433).

³¹⁹ Соболевский 1904, с. 12. Также переводится miles и в «Никодимовом евангелии», переведённом, вероятно, именно в Чехии (L'Évangile de Nicodème 1968, с. 28–29 и след.).

имело в старославянском языке несколько более широкий смысл, чем, например, в современном русском, без уничижительного оттенка, и обозначало людей, которые просто выполняли ту или иную службу, в том числе военную³²⁰.

Вариант «други» можно допускать с двумя смыслами. Конечно, автор мог употребить его, имея в виду просто друзей, приятелей князя³²¹. Но в этом случае трудно объяснить наличие в хорватской редакции альтернативного варианта «слуги» – ведь значение этого слова, каким бы широким оно ни было, всё-таки не пересекается со значением "приятель, товарищ". Вне зависимости от того, какой вариант был первоначальным, трудно представить себе, что какой-то позднейший редактор (неважно, в Чехии или на Руси) мог заменить «други» в значении приятели, товарищи на «слуги» или наоборот.

По-другому выглядит дело, если допустить, что «други» было употреблено в Востокской редакции жития с иным смыслом. Дело в том, что чешским источникам с начала XIII в. известен термин *друг*, причём в значении очень близком именно к старославянскому слуга. Он обозначал лиц, находившихся на частной службе у знатных и могущественных людей и обладавших статусом, близким западноевропейским мелким вассалам (подвассалам) или, быть может, министериялам. Впервые термин упоминается в своде правовых норм, известном как «*Iura supranogum*» или «Конрадовы статуты» (составлен в правление Конрада Оттона между 1186 и 1192 гг., но известен по подтверждениям, изданным в 1222 и 1229 гг.), в очень характерном контексте. В статье 9 оговаривается возможность для знатного человека представить вместо себя на суд своего *ruer* (слугу), но при этом в одном из подтверждений уточняется, что такое право имеет именно знатный человек, а не «друг» – *aliquis nobilis vir et non draho*³²². В данном случае подчёркивается незнатное происхождение «друга». По другим источникам известно, что эти *druhones* (именно так их обозначали во множественном числе) могли быть наделены от своих господ (в том числе, видимо, и князей) властными полномочиями и иметь некоторый достаток. Весьма вероятно, что эти люди входили в число тех, кого чешские источники с конца XI в. обозначают под более общим названием «*milites secundi ordinis*»³²³.

Смешение слов *слуги* и *други* представляется гораздо более вероятным в том случае, если второе из них было употреблено для обозначения такого рода мелких слуг-клиентов (низшей знати). Такое смешение не могло произойти на русской почве, так как на Руси такое значение за словом *друг* не зафиксировано. Значит, «други» в 1-м Житии Вячеслава либо присутствовали изначально, либо заменили оригинальный вариант «слуги» ещё под рукой какого-то чешского редактора. Во втором случае правку надо относить ко времени до 1096 г., когда традиция церковнославянской книжности в Чехии прервалась. Учитывая, что *druhones* как особый социальный слой появляются точно не позднее начала XIII в., а скорее гораздо раньше, такая правка представляется вполне логичной и естественной – редактор, опуская устаревшее и расплывчатое «слуга», просто приближал текст к реалиям своего времени.

Именно существование специального термина *druhones* в древней Чехии кажется мне решающим аргументом в пользу того, чтобы отрицать за словом *друг* в Востокской редакции техническое значение "дружинник", которое пытаются разглядеть в нём историки, сопо-

³²⁰ Ср. об отроках, младенцах и слугах: Цейтлин 1996, с. 62–80.

³²¹ Именно так предлагают понимать это место в русском переводе А. И. Рогов, а вслед за ним А. А. Турилов – «съ други своими» как «со своими друзьями» (Сказания о начале Чешского государства 1970, с. 54; Житие Вячеслава Чешского 1999, с. 171).

³²² Vaněček Prameny 1957, с. 70.

³²³ Так полагает, например, Ё. Жемличка (Žemlička 1997, с. 172, 200), опираясь на более раннюю работу: Zháněl 1930, с. 107–108. О *milites secundi ordinis* в Чехии ср. также в следующей главе (с. 277–278). Среди данных о *druhones* большую роль играет свидетельство одного частного акта начала XIII в. (грамота Грознаты), позволяющее составить довольно детальное представление о таких частных слугах знатных людей, см: Fritze 1977/1982, с. 174–176; Wolverton 2001, с. 71–73.

ставляя древнерусские данные о княжеской дружине с упоминаниями из церковнославянских текстов. В других местах текст этой редакции о *дружине* не говорит, зато «слуги» упоминаются. Вследствие неясности текстологической картины приходится допускать как теоретически возможные разные варианты присутствия и смены слов *слуги* и *други* в эпизоде с «игрой» Вячеслава по редакциям 1-го Жития. Однако, в любом случае сама альтернативность *слуги* versus *други* говорит о том, что эти «други» появились в тексте жития (на каком бы этапе его *Sitz am Leben* это ни произошло) в том значении, в каком в древнечешских источниках выступают *druhones*. При этом нет оснований предполагать прямую связь между чешским термином *друг/друх* (в смысле вассала/клиента и старославянским словом *дружина*)³²⁴. На отсутствие такой связи с точки зрения словообразования указывает тот факт, что во множественном числе этот термин звучит не как *дружина*, а именно как *други* – *druhones*. Очевидно, смысл слова *друг* как "вассал/слуга" развилось от первоначального значения "приятель, соратник, помощник" и т. п. без какой-либо связи со словом *дружина*.

В литературе (особенно старой) иногда встречается указание, что слово *друг* якобы ещё раз используется в 1-м Житии Вячеслава. Имеется в виду чтение одного из трёх опубликованных списков хорватской редакции — Римского бревиария. В описании самого убийства Вячеслава агиограф рассказывает, что сначала Болеслав хотел сам справиться с братом и напал на него один, но Вячеслав вырвался. После этого на помощь Болеславу подбежали трое его мужей, имена которых в житии указываются. Первым из них на помощь своему князю пришёл некий Тужа. В Востокской редакции об этом сказано так: «Тужа притекъ удари в руку (Вячеслава)». Однако из хорватских списков лишь один — в Новлянском бревиарии — сообщает это же имя: «Тужа же етеръ притекъ...» Другие два списка вместо имени говорят неопределённо: «слуга же етеръ...» (Люблянский бревиарии) и «ет(е)ръ дружа...» (Римский бревиарии)³²⁵. Именно этот последний вариант и даёт ещё одно упоминание слова *друг*. Разумеется, сам факт появления этого слова в одном из списков хорватской редакции 1-го Жития Вячеслава свидетельствует об употребительности его в XIV–XV вв. в смысле слуга (ср. вариант Люблянского бревиария). Однако для восстановления первоначального чтения Жития этот вариант ничего дать не может — он, очевидно, вторичен и возник в результате непонимания или порчи оригинального имени *Тужа*, которое сообщают Востокская редакция и лучший из списков хорватской редакции. Ошибочность чтения Римского бревиария уже давно установлена³²⁶.

Обращаемся теперь к переводным текстам, создание которых относят к XI в. В двух из них встречается слово *дружина*. Во-первых, в переводе латинского Жития св. Вацлава, написанного мунтуанским епископом Гумпольдом. Этот славянский перевод называют «Вторым (2-м) старославянским Житием св. Вячеслава». И во-вторых, и в также переводном труде гомилетического жанра «Беседы на Евангелие» Григория Двоеслова. С языковой точки зрения эти два памятника очень близки между собой. Как отмечают современные исследователи, они «несомненно принадлежат одной и той же переводческой школе»³²⁷. Сопоставление лингвистических данных и некоторых наблюдений историко-филологического характера делает почти несомненным, что эта школа работала в стенах Сазавского монастыря. К датировке 2-го Жития и «Бесед» второй половиной или даже концом XI в. (то есть незадолго до ликвидации славянских богослужения и библиотеки в монастыре в 1096 г.) лингвистов склоняет сочетание «большого числа божеств» и слов и выражений, происходящих «из других славянских областей и до этого времени неизвестных в чешской церковно-

³²⁴ Такое предположение высказывается, например, в работах: Vaněček 1949, с. 438; Havlík 1987, с. 180–182.

³²⁵ Sborník památek 1929, с. 41. Ср. «етерь другъ» в Житии Мефодия.

³²⁶ См., например: Weingart 1934, с. 889.

³²⁷ Благова, Икономова 1993, с. 13.

славянской продукции»³²⁸. В частности, обнаруживаются совпадения в лексике и некоторых чертах синтаксиса с болгарской литературой («Шестодневом» Иоанна Экзарха). Переводчики, работавшие в Сазавском монастыре, явно были знакомы «с широким кругом церковнославянской письменности». Как с полным основанием предполагает Э. Благова, реализоваться это знакомство могло прежде всего благодаря связям монастыря с другими центрами славянской письменности. Из таких связей документально засвидетельствованы контакты с Киево-Печерским монастырём, а также пребывание монахов, выгнанных из Сазавы, в 1056–1061 гг. в одном из православных монастырей Венгрии, скорее всего, в вышеградском монастыре св. Андрея, который, как предполагают, был основан по инициативе или при участии Анастасии, русской жены венгерского короля Андрея³²⁹. Отсюда следует заключить, что сазавские монахи познакомились со славянской литературой во многом «через русское посредство»³³⁰.

Эти наблюдения и выводы позволяют правильно оценить и словоупотребление во 2-м Житии и «Беседах». Трудно найти иное объяснение появлению в этих текстах таких слов, как, например, *бо(л)ярин*, неизвестного древне-чешскому языку³³¹ кроме как в контактах с Русью или Болгарией и заимствовании из литературы, там распространённой. То же самое объяснение применимо и к *дружине*: хотя само слово было, конечно, известно в древней Чехии, но значения "люди в окружении (на службе) князя", в котором оно выступает во 2-м Житии (см. ниже), словарь древнечешского языка за ним не фиксирует³³². *Дружину* в этих текстах нельзя назвать в настоящем смысле «книжным заимствованием», потому что слово *дружина* было известно в древнеморавском и древнечешском языках. Вероятно, надо вести речь о специфическом словоупотреблении в церковнославянском языке, когда он уже оторвался от живых славянских языков и функционировал как «литературный» (ср. дискуссию о «диглоссии» в Древней Руси). Такие слова как *бо(л)ярин* или *дружина* в Чехии человеку с определённым уровнем образования и/или кругозора были понятны и даже могли им использоваться в книжно-литературной работе, но в то же время в живой речи либо само слово, либо слово в определённом значении не употреблялись. В текстах они использовались редко или только в определённых контекстах, имели синонимы, употребительные в данной языковой среде или в литературной традиции. Именно такие примеры мы видим во 2-м Житии. Труднее продемонстрировать такое словоупотребление в «Беседах», так как к этому весьма обширному тексту нет словоуказателя, и приходится пользоваться только кратким словником А. И. Соболевского, учитывающим далеко не все упоминания³³³.

В основу «2-го старославянского Жития Вячеслава» положено Гумпольдово Житие Вацлава, и текст его переведён почти полностью, однако в некоторых местах славянский перевод отступает от него и/или дополняет его. Считается, что автору славянского текста не было известно «1-е старославянское Житие Вячеслава», и он следовал другому источнику, но также латинскому – этот источник отчасти отразился в «Легенде Кристиана», «Crescente fide» и более поздних сочинениях, посвящённых св. Вячеславу/Вацлаву. Но для большей части дополнений аналогий не отыскивается³³⁴. Стиль этих дополнений отличается

³²⁸ Bláhová 2006, с. 228.

³²⁹ См.: Сказания о начале Чешского государства 1970, с. 12–14 (вводная статья А. И. Рогова).

³³⁰ Благова, Икономова 1993, с. 23–24.

³³¹ Слово не зафиксировано в словаре древнечешского языка: Gebauer Slovník, 1.

³³² Слово употреблялось в древнечешском языке в своём древнем значении «приятели, спутники, товарищи» в самом общем смысле, и, как свидетельствуют глоссарии XV в., им переводились такие латинские слова, как *consortis*, *comitatus*, *collegium* и т. п.: там же, с. 844.

³³³ Соболевский 1900/1910. В настоящее время выходит критическое издание «Бесед». Опубликовано первые два тома с текстом памятника, но третий том со словоуказателем ещё не вышел: Čtyřicet homilii Řehoře 1; 2.

³³⁴ Наиболее подробное сравнение латинского оригинала Гумпольдаи «2-го старославянского Жития» осуществили.

от остального текста – перевод здесь проще и понятнее и не так слепо следует латинскому оригиналу. Любопытно, что два упоминания *дружины* из пяти приходятся как раз на эти дополнения.

Наиболее характерное, на мой взгляд, употребление слова *дружина* обнаруживается в 13-й главе 2-го Жития. Здесь это слово упоминается вместе со словом *боляры*, которое, как уже было выше сказано, не было известно древнечешскому языку и было в церковнославянских текстах, созданных в древней Чехии, своего рода «литературным импортом». В 13-й главе рассказывается о том, как Вячеслав начал христианизацию страны. Сначала он собрал знать и своих приближённых и предложил им креститься. Сообщение об этом вводится словами: «Въ единъ от днии съзва вся боляры своя и дружину въ полату, нача к ним съ сваром г(лаго)лати: о дружино в#рнаа, но не въ Х(рист)#!...»³³⁵. У Гумпольда мы видим: «die quadam militum et amicorum contione in palatio facta... o amici et fideles utinam Christi!»³³⁶. Очень похоже на то, что Гумпольд, вообще не чуждый стилистическим изыскам, в данном случае использовал особую стилистическую фигуру – гендиадис, то есть обозначение предмета или понятия двумя существительными, дополняющими друг друга по смыслу, а реально он имел в виду одну и ту же группу людей – воинов-рыцарей, приближенных к князю и верных ему. Поскольку речь шла о решении важнейшего вопроса – принятии христианства, – очевидно, имелись в виду наиболее выдающиеся представители знати в окружении Вячеслава.

Перестановка *amici* на первое место во втором словосочетании (в словах Вячеслава) и замена *milites* на *fideles* тоже объясняется стилистически: автор хотел обыграть двойное значение *fideles* – и как верные князю, и как верные Христу (верующие). Переводчик в первом случае, видимо, понял словосочетание *militum et amicorum* не как речевой оборот, а буквально, и перевёл *milites* как «вся бояры своя», имея в виду знатных рыцарей, а *amici* как «дружина», исходя из соответствия значений (*amici* – друзья). Во втором же словосочетании он уловил стилистическую манеру Гумпольда и удачно передал гендиадис через сочетание «дружина верная». И в том, и в другом случае чешский переводчик использовал слово *дружина* в самом общем смысле, понимая под ним всю совокупность людей, служащих князю и зависимых от него – вообще окружение князя, его соратников, приближённых и т. д. Правда, у него получилось, что в первом случае бояре оказались противопоставлены дружине, а во втором к ним как к «дружине» обратился Вячеслав, и таким образом, одно и то же слово (*дружина*) в одном случае обозначает как будто некую отдельную от бояр категорию призванных, а в другом – уже всех вместе (то есть используется метонимически). В результате одно из слов сохраняет точный смысл – *боляры* как «знать, рыцари на службе князя», а другое (*дружина*), напротив, не имеет точности (терминологичности), и значение его расплывается. Вместе с тем, сам факт, что слово *дружина* употребляется для обозначения людей в окружении князя, намечает связь между чешским памятником и болгарскими текстами (см. выше). Всё-таки переводчик передаёт *amici* не буквально как «друзи», а именно как «дружина».

Те же тенденции в использовании слова *дружина* прослеживаются и в остальных упоминаниях его во 2-м Житии: с одной стороны, широкий и довольно неопределённый смысл, а с другой – применение именно к окружению князя. Глава 10 сообщает о видении во сне Вячеслава. Рассказ о видении вкладывается в уста самого князя и открывается его обраще-

К. Никольский, открывший для науки текст 2-го Жития (который поэтому называется также «Легендой Никольского»): Никольский Н, 1909, с. VII и след. Ср. также: Weingart 1934, с. 950–956 и вводную статью И. Вашицы к публикации 2-го Жития: Sborník památek 1929, с. 71–83.

³³⁵ Никольский Н, 1909, с. 34–35. Это издание остаётся лучшим, так как текст издан по двум спискам (оба XVI в.). Тот список, который издавался впоследствии (Соловецкий), хотя несколько более ранний, кажется менее исправным. Здесь везде цитаты приводятся по Пафнютевскому списку.

³³⁶ Gumpoldův život 1873, с. 155.

нием «къ вс#м»), когда он проснулся и решил поведать о своём видении: «милаа моа дружино и иж(е) от отрок моих слуги!» У Гумпольда: «dulces amici vosque o familiares clientuli!»³³⁷. Хотя трудно сказать точно, кого под *amici* имел в виду Гумпольд (от итальянского епископа вообще нельзя ожидать точности в передаче социальных категорий чешского общества), но вероятным выглядит, что речь идёт о тех, кого Гумпольд в главе 13 обозначил как *milites*. Наверное, это – наиболее близкие князю представители знати, и не случайно, что в этой фразе из рассказа о видении Вячеслава они противопоставляются домашним слугам и награждаются эпитетом *dukes*³³⁸. Понял ли это переводчик или нет, для нас останется загадкой, так как он решил пойти более простым путём следования прямому соответствию латинского и славянского слов – как и в 13-й главе, он переводит *amici* как *дружина*. В результате у него получается, что в этой главе *дружина* отделяется от тех, кто назван «от отрок слуги», а в 13-й – от «бояр». Конечно, речь не идёт о какой-то социальной категории или институте – мы имеем дело просто со словом, имеющим самое общее значение "товарищи, соратники, помощники" и т. д., но применённом для людей в окружении правителя; в результате получилось значение княжеские люди, "соратники, окружение", которое в зависимости от контекста может сужаться и указывать на совсем разных людей.

В главе 18 о «дружине» заходит речь в тексте, дополнительном по отношению к оригиналу Гумпольда. Этим словом обозначены те люди, с которыми Вячеслав затеял «игру». Эпизод имеет аналогию в сообщении 1-го Жития о «другах», разобранный выше. Можно было бы думать, что автор 2-го Жития просто передаёт здесь это сообщение, переделав «други» в «дружину». Однако его изложение этого эпизода имеет ряд фактических расхождений, и учёные пришли к выводу, что в основе этого места 2-го Жития лежит всё-таки латинский источник (который, впрочем, сам мог передавать как раз сообщение 1-го Жития, хотя и с некоторыми отличиями). Одно из расхождений состоит в том, что во 2-м Житии эту «игру» Вячеслав устраивает не в Болеславле (как в 1-м Житии), а ещё у себя в Праге, после того как он получил приглашение от брата на пир в Болеславль. Контекст не позволяет здесь определить точное значение слова и кто именно имелся в виду. Агиограф пишет, что Вячеслав догадался о готовящемся покушении на него, но открыто пошёл на смерть и, собрав своих людей на «игру», даже показал им свою доблесть, чтобы они не думали, что он не способен на сопротивление: «...абие причинився съ дружиною своею, и вс#д на конь нача играти, гоняся пред ними по двору своему, г(лаго)ля к ним: “азъ ли бых не ум#л с вами, чехи, на комони обр#сти противникъ наших, но не хочу”»³³⁹. «Дружина» здесь обозначает просто людей в окружении Вячеслава, и неопределённость их социального облика только подчеркнута обращением князя к ним просто как к «чехам».

Такой же самый общий смысл слово имеет в начале 19-й главы в отрывке, тоже не имеющем латинского соответствия. Передаются переговоры Болеслава со «своими», и в этих речах о людях, которые прибыли с Вячеславом в Болеславль, говорится «дружина его»³⁴⁰. В другом месте 19-й главы мы имеем латинский оригинал Гумпольда. Описывая борьбу Вячеслава с напавшим на него Болеславом, автор говорит, что Болеслав стал звать на помощь своих людей. Сначала говорится, что князь «велми възопи, на помощь себе своа зовыи» (*in auxilium sui socios vocat*), а затем сообщается о приходе подмоги: «и единою дружина великом гл(а)сом призвани притекоша» (*mox socii magno clamore vocati accurrunt*)³⁴¹. Как видим,

³³⁷ Никольский Н. 1909, с. 30–31; Gumpoldův život 1873, с. 154. Текст неправильно понят в переводе А. И. Рогова: Сказания о начале Чешского государства 1970, с. 92.

³³⁸ Так и предлагает понимать эту фразу Х. Ловмянский: Łowmiański Początki, 4, с. 188.

³³⁹ Никольский Н. 1909, с. 48–49.

³⁴⁰ Там же, с. 52–53.

³⁴¹ Там же, с. 54–55; Gumpoldův život 1873, с. 160.

у Гумпольда в обоих случаях употреблено одно слово – *socii*, а переводчик в одном случае передаёт его как «своя», а в другом – «дружина». Очевидно, в слово *дружина* вкладывается снова самое общее значение свои (люди), товарищи и т. п., но применяется оно к княжеским людям.

Последнее упоминание – в главе 20. Латинский оригинал говорит о приказании Болеслава убить всех близких Вячеславу людей: «*clericos et amicos, necnon servicio eius familiariter iunctos*». Все вместе в начале той же фразы они обозначены как *catervas fidelium*. Однако фраза эта длинная и синтаксически сложная, и так как это обозначение, данное в обороте *ablativus absolutus*, и перечисление людей оказались разнесены в разные её части, в славянском переводе вышла неясность – по вине то ли слишком буквально придерживавшегося оригинала переводчика, то ли переписчиков, – и под *fidelium* были поняты не верные Вячеславу люди, а он сам. В результате фраза «*saevitiaque eius (Болеслава – П. С.) in catervas fidelium furente, non multo post beati viri necet... clericos et amicos, necnon servicio eius familiariter iunctos subita mortis sententia damnavit*» была передана: «и лютостью его на в#рнаго дружину немного по убиении с(вя)того послав Прагъ погуби вся его приязни и клирики и слуги его измавъ вся ис#че»³⁴². «Дружина» здесь передаёт *catervas* и обозначает, таким образом, всех в целом «приязней, клириков и слуг» Вячеслава. Слово употреблено для самого широкого обозначения лиц, так или иначе связанных с князем; в круг этих лиц включены даже «клирики». Видимо, поскольку в начале предложения переводчик уже прибегнул к слову *дружина*, то далее в перечне верных Вячеславу людей он передал *amicos* как «приязни», отвергнув вариант перевода по «буквальному соответствию» ради стилистической гладкости.

В «Беседах» Григория Двоеслова в случаях, отмеченных А. И. Соболевским, слово *дружина* используется только в значении "спутники, товарищи, сотрудники" и переводит латинское *socii*³⁴³.

Таким образом, слово *дружина* среди всех старославянских текстов «чешской рецензии» представлено фактически только в двух произведениях, близких по языку и связанных общим происхождением, а именно с «переводческой школой» Сазавского монастыря середины – второй половины XI в. Чешские переводчики, безусловно, свободно пользовались этим словом, в сущности употребляя его в том смысле, в каком оно выступало в текстах кирилло-мефодиевского круга – то есть "спутники, товарищи" и т. п. Однако, в славянском переводе Гумпольдова Жития св. Вацлава («2-м старославянском Житии св. Вячеслава») оно последовательно применяется к окружению князя. В этом отношении характер и контекст использования слова соответствует тому, что мы наблюдали в древне-болгарских текстах. Это соответствие надо объяснять, по всей видимости, литературными контактами книжников Сазавского монастыря и просто влиянием болгарской и русской традиций церковнославянской книжности. Вместе с тем, слово *дружина* во 2-м Житии не имело терминологической точности, не указывая на какую-то определённую социальную категорию или институт. Оно обозначало предельно широкий круг людей: вообще всех тех, кто был в тот или иной момент при князе, или тех, был с ним как-то связан и т. д. «Другов», упомянутых в Востокской редакции «1-го старославянского Жития Вячеслава», правильное было бы, на мой взгляд, понимать как обозначение особой социальной категории древнечешского общества XI–XIII вв., известной под латинизированным обозначением *druh/druhones*.

³⁴² Никольский Н, 1909, с. 56–57; Gumpoldův život 1873, с. 161. Указание на Прагу (как и другие фактические детали в этом сообщении) славянским переводчиком заимствованы из других источников. Русский перевод Рогова снова некорректен — он представляет собой контаминацию славянского и латинского вариантов, сглаживающую, но никак не объясняющую действительные смысловые противоречия текста: Сказания о начале Чешского государства 1970, с. 97.

³⁴³ Čtyřicet homilií Řehoře 2, с. 842 (л. 196), 894 (л. 209об.).

* * *

Общие заключения этого раздела главы сводятся к следующему.

Слово *дружина* – общеславянское и фиксируется в древнейших памятниках на славянском языке. Первоначально оно имело довольно широкий смысл – спутники, товарищи, сотрудники, соратники, приятели, помощники. В таком значении оно фиксируется и в древнейших оригинальных и переводных текстах кирилло-мефодиевского круга, и затем во многих текстах, созданных или «усвоенных» практически во всех областях распространения славянской письменности. Более узкое значение военное объединение, войско, отряд оно получает в Болгарии X в.³⁴⁴ В одном случае (в «Беседах» Козьмы Пресвитера) *дружина* связывается с «владыками земными», обозначая, возможно, людей, состоящих на службе у этих последних. В таком «властно-иерархическом» или «государственном» контексте, а именно для указания на людей в окружении князя, слово *дружина* встречается также в памятнике древнечешской литературы – «2-м старославянском Житии св. Вячеслава» (перевод латинского жития Гумпольда). Ф. Граус считал, что здесь слово выступало как *terminus technicus*, обозначая «большую дружину» (ср. выше с. 112)³⁴⁵. Однако, с ним согласиться нельзя³⁴⁶. Какую бы дружину как институт или организацию ни иметь в виду, употребление старославянского слова *дружина* в этом памятнике нельзя расценивать как терминологически точное. Смысловое наполнение слова здесь широко и расплывчато, его используют либо для обобщённого обозначения людей, сопровождавших или поддерживавших князя, причём часто отталкиваясь от латинского слова *amici*, стоящего в оригинале, либо для обозначения одной какой-либо группы среди этих людей, причём в разных случаях – разных групп. Во втором случае мы имеем дело с метонимией – указанием на часть с помощью обозначения целого. Появление *дружины* в этом памятнике наиболее логично и естественно связать с литературно-церковными контактами, которые засвидетельствованы между Сазавским монастырём, где вероятнее всего и был осуществлён перевод, и русскими культурными центрами.

Прямой связи слов *дружина* и *друг* в старославянских текстах не прослеживается. «Етеръ другъ» в Житии Мефодия следует объяснять не как указание на дружинника Святополка, а как сочетание двух местоимений и переводить как «некий другой». Никаких дружинников нет и в мефодиевском переводе «Закона суднаго людем».

Слово *друг* существовало в древнечешском языке как социальный термин, но обозначало оно не члена дружины правителя (князя) как военно-социальной организации, а зависимого человека на частной службе – слугу или клиента. В таком смысле, надо понимать это слово, упомянутое во множественном числе в одном месте Востоковской редакции «1-го старославянского Жития св. Вячеслава».

Стоит отметить, что в древнерусском языке значение слова *друг* известно только одно главное – «приятель, товарищ»³⁴⁷. Несмотря на то, что древнейшие русские источники несравненно более многочисленны, чем тексты на других славянских языках, а в частности, более обильны и по упоминаниям социальной терминологии, на Руси это слово не фиксируется в значении «член дружины». Конечно, в живом языке ощущалась связь между словами

³⁴⁴ Ср. мнение, что такое значение свойственно только русским источникам: Сороколетов 1970/2009, с. 75. Ср., с другой стороны, мнение, что в таком смысле и даже точнее: в смысле военно-служилой организации при князе – слово употреблялось уже в IX в. практически у всех славян: Havlík 1978, с. 79.

³⁴⁵ Graus 1965a, с. 7–8.

³⁴⁶ Это мнение Грауса уже подвергалось справедливой, хотя и краткой, сделанной мельком, критике Х. Ловмянским: Łowmiański Początki, 4, с. 188.

³⁴⁷ Из этого главного значения можно, конечно, выделить некоторые более специфические – например, «сторонник, приверженец» и т. п., см: СДРЯ, 3, с. 85–87.

друг и *дружина* (ведь второе из них — собирательное, производное от первого), и в определённых контекстах или ситуациях «други» (во множественном числе) могли быть взаимозаменяемы с «дружиной». Так, в древнерусском переводе «Пчелы» (XII — начало XIII в.) греческое φίλοι ("друзья") девять раз передаётся как *Дроужинна*, хотя в большинстве случаев (более десятка) — как *Дроужин*³⁴⁸. Характерно, что почти во всех случаях первого рода речь идёт об окружении правителей — значит, слово *дружина* казалось уместным именно в таком контексте, и это свидетельствует о его определённой семантической спецификации. Эта спецификация, вполне соответствующая тенденции, зафиксированной в болгарских памятниках и во «2-м старославянском Житии Вячеслава», будет показана ниже на летописном материале.

Вместе с тем, было бы неправильно придавать таким случаям взаимозаменяемости слов *Дроужин*/*Дроужни* и *Дроужинна* какое-то решающее значение. Контекст, в котором она происходила, мог быть самым разным. Эти два слова сближались также, например, под влиянием церковно-религиозной литературы, в которой люди, связанные единством веры, особенно в иноверном враждебном окружении, нередко именовались «дружиной» (ср. выше примеры из старославянских житий и месяцесловов) и в которой, с другой стороны, тот *ближний*, к которому христианство призывало относиться с милосердием и любовью, нередко обобщённо именовался «другом»³⁴⁹. Так, например, в Н1Лмв сообщениях о посольствах новгородцев в Швецию под 6856 (1348) и 6858 (1350) гг. одни и те же люди — члены посольства — обозначаются сначала как «Аврам со своими другы», а потом «Аврам и Кузма и дружина их»³⁵⁰. Именование новгородского посольства именно таким образом, очевидно, объясняется контекстом: здесь же указывается цель посольства — спорить с Магнусом, королём шведским, «коя в#ра лучши», — и о решении новгородцев защитить православие сообщается в приподнято-торжественном духе. В данном случае более обычным и естественным было употребление слова *дружина* (спутники, товарищи), но пафос сообщения вызвал появление слова, привычного в церковно-религиозном контексте — *друг*. В «Пчеле», наоборот, более простым был прямой перевод φίλοι > *Дроужни*, но в описании отношений правителя с его окружением переводчик посчитал более подходящим или выразительным слово *Дроужинна*. Выбор из двух этимологически связанных слов диктовался, таким образом, лишь стилистическими соображениями, но совсем не тем, что они должны были быть связаны в строго определённом (терминологическом) значении: *дружина* как объединение людей на службе князя, а *друг* как член такого объединения (дружинник). До научно-исторических штудий в России в XIX в., когда такое значение получило слово *дружинник*, иного слова для определения члена *дружины* просто не существовало (как до сих пор и не существует во многих славянских языках).

³⁴⁸ См.: Пчела 2008,2, с. 97, 555. М. Н. Сперанский отметил три случая перевода как: один раз в рассказе о персидском царе Кире и дважды в рассказах об Александре Македонском (Сперанский 1904, с. 297). Он расценил такой перевод как «русизм».

³⁴⁹ Ср., например, ссылку в «Повести временных лет» на евангельскую максиму: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положить за други своя» (Ин. XV, 13) в рассказе о смерти Изяслава Ярославича в 1078 г.: ПСРЛ, 1, стл. 203. Ср. также в Изборнике 1076 г.: «даже не умырещи добро сътвори другу» (Изборник 1076 года 2009, с. 362 (л. 167об.)).

³⁵⁰ НПЛ 1950, с. 359, 362.

Дружина в древнерусских источниках

Главный вопрос, от которого отталкивается исследовательский поиск в данном разделе, вытекает из предшествующего анализа и может быть сформулирован так: прослеживается ли большая точность и терминологичность слова *дружина* в древнерусских памятниках по сравнению со старо- и церковнославянскими текстами? В древнеболгарских и древнечешских памятниках это слово обнаруживает некоторое сужение самого общего первоначального значения «спутники, товарищи». Привела ли эта семантическая спецификация на древнерусской почве к тому, что слово стало обозначать конкретные социально-политические структуры и институты?

В специальной литературе этот вопрос уже ставился, и хотя ответы на него были разные, после работы Ф. П. Сороколетова стали обычно отвечать на него положительно. Сороколетов, предложив внушительную подборку примеров употребления слова *дружина* не только в летописях, но и в древнерусских литературных памятниках, попытался выделить три главных значения слова. Его наблюдения, вне сомнения, заслуживают внимания, хотя они не были вполне последовательными и их нельзя назвать во всём убедительными. Первым (и древнейшим) он считал «общеславянское» значение «товарищи, спутники» и т. п. Вторым «основным значением» «в оригинальной светской письменности» (древнерусской) он называл в одном месте «княжеское постоянное войско», а в другом — «войско вообще»³⁵¹. Заклубившись в отношении второго значения, учёный обнаружил ещё большую неопределённость, пытаясь выделить третье, более специальное. Исходным посылом его рассуждений была мысль, что слово *дружина* «в своей семантике отражает сложную картину организации не только военной, но и социально-политической на определённой стадии развития славян, и восточных славян прежде всего», и что «дружина была не только постоянным войском князя и знати, но и организацией (или органом), на которую князь опирался в политическом управлении». Выдвинув этот постулат, Сороколетов исходил из чисто теоретических соображений и лишь ссылаясь на труды известных историков (С. М. Соловьёва, В. О. Ключевского, Б. Д. Грекова). Фактически он не смог привести ни одного примера, который бы ясно обозначал контуры этой «организации» или «органа», и лишь отмечал, что её «основным признаком» было функционирование как «постоянного войска, окружавшего князя»³⁵². Сосредоточившись на случаях употребления слова *дружина* с уточняющими эпитетами (молодая, большая, передняя и т. д.) или в противопоставлении с более точными терминами (бояре, гридь и пр.), Сороколетов в итоге, уже в конце раздела, посвящённого этому слову, говорит лишь о его «военных значениях». Он только осторожно замечает, что «дифференцирующие признаки, выделяющие дружину как особый вид воинской организации из ряда других (*полкъ, рать*)» состояли в «приближенности к князю, участии, по крайней мере верхушки дружины, в обсуждении и решении различных вопросов с князем и постоянности и немногочисленности состава»³⁵³.

Таким образом, попытка Сороколетова более конкретно определить социально-политическое содержание древнерусского слова *дружина* по сравнению со значением «войско» привела лишь к одному уточнению: в ряде случаев, особенно в летописи, может иметься в виду не просто некое войско, а «приближённое к князю постоянное войско». Практически так же определял значение слова и А. С. Львов по данным «Повести временных лет» (ПВЛ):

³⁵¹ Сороколетов 1970/2009, с. 57, 72.

³⁵² Сороколетов 1970/2009, с. 58–59.

³⁵³ Там же, с. 74–75.

"постоянное воинское соединение, находящееся при князе"³⁵⁴. Но ясно, что хотя это значение и более узко по сравнению со "спутники" или "войско, военные силы вообще", оно недостаточно конкретное, чтобы видеть в нём какие-то социальные группы или политические институты. Войско под началом князя или даже военная организация, функционирующая более или менее на постоянной основе, могли ведь состоять из самых разных социальных элементов и имели весьма опосредованное отношение к процессам и механизмам принятия политических решений. Очень разными могли быть и отношения, которые связывали с князем людей, состоящих в войске.

На противоречивость высказываний Сороколетова в дальнейшем не было обращено внимание, и тезис, выдвинутый им, но не подкреплённый данными источников, об особом третьем значении лексемы был признан без всяких оговорок даже в авторитетных словарях. Например, «Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)» таким образом определяет это особое значение: «ближайшие люди князя, княжеский совет и княжеское постоянное войско в древней Руси»³⁵⁵. Здесь, правда, не говорится, как у Сороколетова, об «организации» и «органе», но указание на «совет» и «постоянство» подразумевает как будто институциональную оформленность дружины, хотя возникает сразу вопрос, что же создавало эту оформленность, если связь «ближайших людей князя» и его «совета» со всем «княжеским войском» (естественно, весьма разнородным) была более или менее условной и опосредованной.

Нетрудно заметить, что стремление «терминологизировать» слово *дружина* и увидеть в нём прямое отражение некоего не только военного, но и социально-политического института восходит к устойчивой историографической традиции XIX–XX вв. (ср. ссылки Сороколетова на историков). Если при этом у лингвистов и филологов наблюдаются ещё некоторые колебания, то историки, как правило, более однозначны и прямолинейны. Характерным примером в этом отношении может служить работа датского историка Кнуда Рабека Шмидта, суждения которого вполне укладываются в эту традицию, а формулировки часто удачно выражают то, что только подразумевается в трудах классиков этой традиции. Шмидт, опираясь, главным образом, на данные ПВЛ, даёт такое определение дружины (в главном, по его мнению, значении древнерусского слова, помимо спутники и войско): «постоянное учреждение (eine feste Einrichtung), состоящее из мужчин, которые связаны с киевскими князьями тесными (личными) узами; они (или некоторые из них) действуют как личная охрана князя и живут за его счёт; другие получают (как и сами князья) долю из взимаемой дани и имеют земельные владения вокруг Киева»³⁵⁶. Это определение выглядит крайне странно: трудно представить себе, что это может быть за «постоянное учреждение», которое объединяет столь разнородные социальные группы, как личных охранников князя на его содержании и, с другой стороны, землевладельцев, имеющих доступ к распределению государственных доходов (дани). Историк как будто лишь точно следует летописи, но картина в результате получается противоречивой и неясной. Может быть, был прав Х. Ловмянский, который, как раз критикуя работу Шмидта, указывал на «непригодность» летописного обозначения в качестве научного понятия (ср. выше во введении к данной главе)?

³⁵⁴ 117 Львов 1975, с. 280, 289.

³⁵⁵ СДРЯ, 3, с. 91–92. Первым и вторым значениями даются "товарищи, спутники" и "войско". Этот словарь, вслед «Словарю русского языка XI–XVII вв.» (СРЯ, 4, с. 362), выделяет ещё одно значение слова – "община", и видит таковую в дружине, упомянутой в статье «Русской правды» о головничестве (ст. 5 «Пространной редакции»). Однако, очевидно, этот дополнительно выделяемый смысл является лишь частным случаем значения "товарищи, свои (люди)". Существование общины в Древней Руси выглядит крайне проблематичным, и толкование свидетельства «Русской Правды» именно в таком смысле по меньшей мере рискованно.

³⁵⁶ Schmidt 1964, с. 475–476, ср. также с. с. 64–73, 109–123.

Для ответа на поставленный в начале раздела вопрос предлагается следующая методика. Для последовательного подробного анализа содержания слова *дружина* берётся только некоторая часть летописного текста древнейшего происхождения. Затем результаты, полученные из этого анализа, сравниваются с некоторыми другими примерами в древнерусских памятниках, и этого будет вполне достаточно, чтобы выяснить главное в семантике и употреблении этого слова. Отталкиваться я буду от значений, уже выясненных мной выше по старо- и церковнославянским памятникам, с учётом наблюдений и выводов специальных терминологических работ.

1. Древнейшее летописание

Текст, который анализируется в этом подразделе (параграфе), – это часть Новгородской Первой летописи младшего извода (Н1Лм) до 6504 (996) г., в которой, согласно схеме летописания А. А. Шахматова, отразился свод, предшествующий ПВЛ, – так называемый «Начальный свод» (НС) – и сохранился тем самым в целом более древний летописный пласт (см. о шахматовской схеме во «Введении»).

Обращение именно к этому тексту обусловлено исходной целью последовательно учитывать достижения летописной текстологии. До сих пор такой подход не пользовался популярностью в терминологических исследованиях. Ни Ф. П. Сороколетов, ни А. С. Львов практически не использовали Новгородскую Первую летопись. К. Р. Шмидт анализировал ПВЛ и только Синодальный список Н1Л (или Новгородскую Первую летопись старшего извода – Н1Лс), который, как известно, не имеет начала и излагает события лишь с конца статьи, предшествующей статье 6525 (1018) г. Сравнение ПВЛ с Н1Лм, которое могло бы показать, какие изменения в том или ином случае претерпевает употребление того или иного термина в летописных текстах разного происхождения, он не провёл. Автор, издавая целый ряд статей об обозначениях лиц, принадлежавших к элите древнерусского общества, только в одной статье (где не касается *дружины*) последовательно разделяет терминологию в ПВЛ и Н1Л³⁵⁷. Таким образом, в терминологических работах практически не использованы возможности увидеть трансформацию текста, а значит, и соответствующих терминов, в ПВЛ по сравнению с предшествующим этапом летописания, и, тем самым, проверить, развить или дополнить гипотезу Шахматова о НС.

Разумеется, вопрос о древнейших этапах летописания на Руси может решаться по-разному, но в любом случае часть Н1Лм до 6504 г. – это удобный текст для терминологического разбора, поскольку он чётко отделён от повествования о событиях XI в. и представлен одной группой списков, расходящихся между собой только в отдельных чтениях. Все упоминания слова *дружина* в этой части летописи анализируются далее каждое в соответствующем контексте, и предлагается, насколько это возможно, определение происхождения этого контекста согласно представлениям об истории начального летописания Шахматова и его последователей.

Надо только сделать одну важную оговорку, развивающую тезис, который был высказан во «Введении». Для анализа берётся текст летописи, который рассказывает о событиях, весьма отдалённых от его автора или, точнее, авторов (поскольку речь идёт о нескольких летописных слоях). Разрыв может составлять от одного-двух десятилетий (если взять, например, древнейший текст, описывающий правление Владимира Святого) до одного-двух столетий (если берётся текст НС, касающийся событий конца IX–X вв.). Летописцы часто опирались не столько на собственные впечатления, сколько на легенды и предания, и представляли историческое сочинение, а не дневник событий. Оставляя пока в стороне вопрос о

³⁵⁷ Завадская 1986.

достоверности самой информации, сообщаемой летописцами (отчасти об этом говорится в главах III–IV), надо отметить, что их словоупотребление было ориентировано прежде всего на их современников и на реалии, им современные. Нельзя, конечно, отрицать, что тот или иной автор мог писать, осознавая отдалённость событий и подразумевая, что в древности общественная жизнь была устроена иначе, нежели в его время, а значит, его понимание исторического процесса или просто историческая интуиция заставляли либо приближать словоупотребление к реалиям того прошлого, которое он описывал, либо эпически абстрагировать его, отрывая от конкретных обстоятельств. Но всё-таки в целом надо исходить из того, что мы будем реконструировать словоупотребление летописца, а не участников описанных им событий (для многих из которых, как можно предположить, родным языком был вообще не древнерусский, а древнескандинавский), и оно будет отражать, грубо говоря, реалии не X-го, а скорее XI-го века.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.